

**ЗАПИСКИ ИЗ ИЗВЕСТНЫХ ВСЕМ
ПРОИСШЕСТВИЕВ И ПОДЛИННЫХ ДЕЛ,
ЗАКЛЮЧАЮЩИЕ В СЕБЕ ЖИЗНЬ
ГАВРИЛЫ РОМАНОВИЧА ДЕРЖАВИНА**

Отделение I

**С РОЖДЕНИЯ ЕГО И ВОСПИТАНИЯ ПО
ВСТУПЛЕНИЕ В СЛУЖБУ**

Бывший статс-секретарь при императрице Екатерине Второй, сенатор и коммерц-коллегии президент, потом при императоре Павле член верховного совета и государственный казначей, а при императоре Александре министр юстиции, действительный тайный советник и разных орденов кавалер, Гавриил Романович Державин родился в Казани от благородных родителей, в 1743 году июля 3 числа. Отец его служил в армии и, получив от конского удара чахотку, переведен в оренбургские полки премьер-майором; потом отставлен в 1754 году полковником. Мать его была из рода Козловых. Отец его имел за собою, по разделу с пятерыми братьями, крестьян только 10 душ, а мать 50. При всем сем недостатке были благонравные и добродетельные люди.

Помянутый сын их был первым от их брака; в младенчестве был весьма мал, слаб и сух, так что, по тогдашнему в том краю непросвещению и обычаю народному, должно было его запекать в хлебе, дабы получил он сколько-нибудь живности. <...> Примечания достойно, что когда <17>44 году явилась большая, весьма известная ученому свету комета, то при первом на нее воззрении младенец, указывая на нее перстом, первое слово выговорил: "Бог!" Родители со взаимною нежностью старались его воспитывать; однако же, когда в последующем году родился у него брат, то мать любила более меньшего, а отец старшего, который на четвертом году уже умел читать. За неимением в тогдашнее время в том краю учителей, научен от церковников читать и писать. Мать, однако, имея более времени быть дома, когда отец отлучался по должностям своим на службу, старалась прирастить к чтению книг духовных, поощряя к тому награждением игрушек и конфет. Старший был острее и расторопнее, а меньшой – глубокомысленнее и медлительнее. В младенческие годы прожили они под непрестанным присмотром родителей несколько в сказанном городе Яранске, потом в Ставрополе, что близ Волги, а наконец в Оренбурге, где старший, при вступлении в отроческие лета, то

есть по седьмому году, по тогдашним законам, явлен был на первый смотр губернатору Ивану Ивановичу Неплюеву и отдан для научения немецкого языка, за неимением там других учителей, сосланному за какую-то вину в каторжную работу, некоторому Иосифу Розе, у которого дети лучших благородных людей, в Оренбурге при должностях находящихся, мужеска и женска полу, учились. Сей наставник, кроме того, что нравов развращенных, жесток, наказывал своих учеников самыми мучительными, но даже и неблагопристойными штрафами, о коих рассказывать здесь было бы отвратительно, был сам невежда, не знал даже грамматических правил, а для того и упражнял только детей тверждением наизусть вокабул и разговоров и списыванием оных, его, Розы, рукою прекрасно однако писанных. Чрез несколько лет посредством такового учения разумел уже здесь упомянутый питомец по-немецки читать, писать и говорить, и как имел чрезвычайную к наукам склонность, занимаясь между уроков денно и нощно рисованием, но как не имел не токмо учителей, но и хороших рисунков, то довольствовался изображением богатырей, каковые деревянной печати в Москве на Спасском мосту продаются, раскрашивая их чернилами, простою и жженою

охрою, так что все стены его комнаты были оными убиты и уклеены. В течение сего времени отец имел комиссии быть при межевании некоторых владельческих земель, то от геодезиста, при нем находящегося, сын получил охоту к инженерству. Наконец, когда отец его в <1>754 году получил отставку, для которой ездил в Москву, в бытность в оной государыни императрицы Елисавет Петровны, то и сей любимый сын его был с ним, с намерением, чтоб записать его в кадетский корпус или в артиллерию; но как для того надобно было ехать в Петербург, а дела отца его, которые он должен был кончить в Москве, паче же недостаток, что издержался деньгами, ехать ему в сию новую столицу не дозволили, то возвратился он в деревню с намерением в будущем году непременно записать сына в помянутые места. Хотя ему и вызывались некоторые особы в Москве принять его в гвардию, но он по недостатку своему на то не мог согласиться; однако же, по приезде в деревню, в том же году в ноябре месяце скончался, и тем самым пресеклись желания отца и сына, чтоб быть последнему в таких командах, где бы чему-нибудь ему научиться можно было. И таким образом мать осталась с двумя сыновьями и с дочерью одного году в крайнем сиротстве и

бедности; ибо, по бытности в службе, самомалейшие деревни, и те в разных губерниях по клочкам разбросанные, будучи неустроенными, никакого доходу не приносили, что даже 15 руб. долгу, после отца оставшегося, заплатить нечем было; притом соседи иные прикосновенные к ним земли отняли, а другие, построив мельницы, остальные луга потопили.

Должно было с ними входить в тяжбу; но как не было у сирот ни достатку, ни защитника, то обыкновенно в приказах всегда сильная рука перемогала; а для того мать, чтоб какое где-нибудь отыскать правосудие, должна была с малыми своими сыновьями ходить по судьям, стоять у них в передних у дверей по несколько часов, дожидаясь их выхода; но когда выходили, то не хотел никто выслушать ее порядочно, но все с жестокосердием ее проходили мимо, и она должна была ни с чем возвращаться домой со слезами, в крайней горести и печали... <...> Таковое страдание матери от неправосудия вечно осталось запечатленным на его сердце, и он, будучи потом в высоких достоинствах, не мог сносить равнодушно неправды и притеснения вдов и сирот. При таковых, однако, напастях мать никогда не забывала о воспитании детей своих, но прилагала всевозможное попечение, какое только

возможно было им доставить; а для того отдала их в научение, за неимением лучших учителей арифметики и геометрии, сперва гарнизонному школьнику Лебедеву, а потом артиллерии штык-юнкеру Полетаеву; но как они и сами в сих науках были малосведущи, ибо, как Роза немецкому языку учил без грамматики, так и они арифметике и геометрии без доказательств и правил, то и довольствовались в арифметике одними первыми пятью частями, а в геометрии черчением фигур, не имея понятия, что и для чего надлежит. Когда же большему сыну настал 12-й год, то мать, дабы исполнить закон и явить герольдии в положенный срок детей своих, в <1>757 году ездила в Москву, желая также, по явке в оной и по получении доказательств на дворянство, записать их в помянутые места, куда отец хотел; но как, против всякого чаяния, в герольдии не могла она объяснить хорошенько роду Державиных, по которым городам и в которых годах предки их служили, то и произошло затруднение; а для того, чтобы отвратить оное, должно было обратиться к некоему подполковнику Дятлову, живущему в Можайском уезде, происшедшему от сестры мужа ее, который, приехав в Москву, доказал истинное дворянское происхождение явленных недорослей

от рода Багримы мурзы, выехавшего из Золотой Орды при царе Иване Васильевиче Темном, что явствуется в Бархатной книге вообще с родами: Нарбековыми, Акинфиевыми, Кеглевыми и прочими; но как на таковое изыскание древности употреблено много времени, то зимнею порою и не можно уже было доехать до Петербурга, а как летний путь по недостатку не был под силу, то и возвратились в Казань с тем, чтобы в будущем году совершить свое предположение.

Поелику же в 1758 году открылась в Казани гимназия, состоящая под главным ведомством Московского университета, то и отложена поездка, а записаны дети в сие училище, в котором преподавалось учение языкам: латинскому, французскому, немецкому, арифметике, геометрии, танцеванию, музыке, рисованию и фехтованию, под дирекциею бывшего тогда асессором Михаила Ивановича Веревкина; однако же, по недостатку хороших учителей, едва ли с лучшими правилами как и прежде. Более же всего старались, чтоб научить читать, писать и говорить сколько-нибудь по грамматике, и быть обходительным, заставляя сказывать на кафедрах сочиненные учителем и выученные наизусть речи; также представлять на театре бывшие тогда в славе Сумарокова

трагедии, танцевать и фехтовать в торжественных собраниях при случае экзаменов; что сделало питомцев хотя в науках неискусными, однако же доставило люд-скость и некоторую розвязь в обращении. Старший из Державиных оказал более способности к наукам до воображения касающимся, а меньшей – к математическим; однако же, во всех классах старший своей расто-ропностью блистал поверхностью и брал пред меньшим преимущество, который казался туп и застенчив. Вследствие чего старший отличался в рисовании, а потому, когда директор в <1>759 году собирался главному куратору Ивану Ивановичу Шувалову дать отчет в успехах вверенного ему училища, то и приказал отличившимся ученикам начертить геометрию и скопировать карты Казанской губернии, украсив оные разными фигурами и ландшафтами, дабы тем дать блеск своему старанию о научении вверенного ему благородного юношества. В числе сих отличных был и старший Державин. Когда ж директор в 1760 году из Петербурга возвратился, то в вознаграждение учеников, трудившихся над геометрией, объявил каждого по желанию записанными в службу в полки лейб-гвардии солдатами, а Державина в инженерный корпус кондуктором... <...>

В 1761 году получил г. Веревкин от главного куратора Ивана Ивановича Шувалова повеление, чтоб описать развалины древнего татарского, или Золотой Орды города, называемого Болгары, лежащего между рек Камы и Волги, от последней в 5-ти, а от первой в 50-ти или 60-ти верстах, и сыскать там каких только можно древностей, то есть монет, посуды и прочих вещей. Не имея способнейших к тому людей, выбрал он из учеников гимназии паки Державина и, присовокупив к нему несколько из его товарищей, отправился с ними в июне или июле месяце в путь. Пробыв там несколько дней, наскучил, оставил Державина и, подчинив ему прочих, приказал доставить к себе в Казань план, с описанием города и буде что найдется из древностей. Державин пробыл там до глубокой осени и что мог, не имея самонужнейших способов, исполнил. Описание, план и виды развалин некоторых строений, то есть ханского дворца, бани и каланчи, с подземельными ходами, укрепленной железными обручами по повелению Петра Великого, когда он шествовал в Персию, и списки с надписей гробниц, также монету медную, несколько серебряной и золотой, кольца ушные и наручные, вымытые из земли дождями, урны глиняные или кувшины, вырытые из земли с

углями, собрал и по возвращении в Казань отдал г. Веревкину. Он монеты и вещи принял, а описание, план, виды и надписи приказал переписать и перерисовать начисто и принести к нему тогда, как он в начале наступающего года по обыкновению будет собираться в Петербург для отдания отчетов главному куратору об успехах в науках в гимназии; но как в начале 1762 года получено горестное известие о кончине государыни императрицы Елисаветы Петровны, то он наскоро отправился в столицу, приказав Державину сделанное им доставить к нему после.

Скоро потом Державин получил из канцелярии лейб-гвардии Преображенского полка паспорт 1760 года за подписанием лейб-гвардии майора князя Менщикова, в котором значилось, что он отпущен для окончания наук до 1762 года. А как сей срок прошел, ибо тогда был того года уже февраль месяц, то и должен он был немедленно отправиться к полку, тем паче, что не имел уже никакой себе подпоры в Веревкине, на которого место в директоры Казанской гимназии прислан был некто профессор Савич.

Отделение II

ВОИНСКАЯ ДЕРЖАВИНА СЛУЖБА ДО ОТКРЫВШЕГОСЯ В ИМПЕРИИ ВОЗМУЩЕНИЯ

В помянутом 1762 году в марте месяце прибыл он в Петербург. Представил свой паспорт майору Текутьеву, бывшему тогда при полку дежурным. Сей чиновник был человек добрый, но великий крикун, строгий и взыскательный по службе. Он лишь взглянул на паспорт и увидел, что просрочен, захохотал и закричал: "О, брат просрочил", – и приказал отвести вестовому на полковой двор. Привели в полковую канцелярию и сделали формальный допрос. Державин, хотя был тогда не более как 18-ти лет, однако нашелся и отвечал, что он не знает, почему присвоил его к себе Преображенский полк, ибо никогда желания его не было служить, по недостатку его, в гвардии, а было объявлено от него желание, чрез г. Веревкина, вступить в артиллерийский или инженерный корпус, из которых о принятии в последний кондуктором и был от него, Веревкина, удостоверен и носил инженерный мундир. По справке в канцелярии известно стало, что по списку с прочими, присланному при сообщении от

Ивана Ивановича Шувалова, записан он в Преображенский полк за прилежность и способность к наукам и отпущен для окончания оных на два года. Но паспорт лежал в канцелярии до вступления на престол императора Петра Третьего, по повелению которого велено всем отпускным явиться к их полкам. И как посему он, Державин, в просрочке оказался невинным, то и приказано его причислить в третью роту в рядовые, куды причислен; и как не было у него во всем городе ни одного человека знакомых, то поставлен в казарму с даточными солдатами вместе с тремя женатыми и двумя холостыми... <...>

В рассуждении чего и должен был, хотя и не хотел, выкинуть из головы науки. Однако, как сильную имел к ним склонность, то, не могши упражняться по тесноте комнаты ни в рисовании, ни в музыке, чтоб другим своим компаньонам не наскучить, по ночам, когда все улягутся, читал книги, какие где достать случалось, немецкие и русские, и марал стихи без всяких правил, которые никому не показывал, что однако, сколько ни скрывал, но не мог утаить от компаньонов, а паче от их жен; почему и начали они его просить о написании писем к их родственникам в деревни. Державин, писав просто

на крестьянский >вкус, чрезвычайно им тем угодил, и как имел притом небольшие деньги, получив от матери в подарок при отъезде своем сто рублей, то и ссужал при их нуждах по рублю и по два; а чрез то пришел во всей роте в такую любовь, что когда Петр Третий объявил гвардии поход в Данию, то и выбрали они его себе артельщиком, препоручив ему все свои артельные деньги и заказку нужных вещей и припасов для похода. Таким образом проводил он свою жизнь между грубых своих сотоварищей... <...>

...поутру, часу пополуночи в 8-м, увидели скачущего из конной гвардии рейтара, который кричал, чтоб шли к матушке в Зимний каменный дворец... <...> Рота тотчас выбежала на плац. В Измайловском полку был слышен барабанный бой, тревога, и в городе все суматошилось. Едва успели офицеры запыхаючись прибежать к роте, из которых однако были некоторые равнодушные, будто знали о причине тревоги. Однако все молчали; то рота вся, без всякого от них приказания, с великим устремлением, заряжая ружья, помчалась к полковому двору. На дороге, в переулке, идущем близ полкового двора, встретился штабс-капитан Нилов, останавливал, но его не послушались и вошли на полковой двор. Тут нашли майора Текутьева, в великой

задумчивости ходящего взад и вперед, не говорящего ни слова. Его спрашивали, куда прикажет идти, но он ничего не отвечал, и рота на несколько минут приостановилась. Но, усмотря, что по Литейной идущая гренадерская, невзирая на воспреещение майора Воейкова, который, будучи верхом и вынув шпагу, бранил и рубил гренадер по ружьям и шапкам, вдруг рыкнув бросилась на него с устремленными штыками, то и нашелся он принужденным скакать от них во всю мочь; а боясь, чтоб не захватили его на Семеновском мосту, повернул вправо и въехал в Фонтанку по груди лошади. Тут гренадеры от него отстали. Таким образом третья рота, как и прочие Преображенского полка, по другим мостам бежали, одна за одной, к Зимнему дворцу. Там нашли Семеновский и Измайловский уже пришедшими, которые окружили дворец и выходы все заставили своими караулами. Преображенский полк, по подозрению ли, что его любил более других государь, часто обучал сам военной экзерции, а особливо гренадерские роты, которых было две, жалую их нередко по чарке вина, или по старшинству его учреждения, пред прочею гвардией, поставлен был внутри дворца. Все сие Державина, как молодого человека, весьма удивляло, и он потихоньку шел по следам полка, а

пришед во дворец, сыскал свою роту и стал по ранжиру в назначенное ему место. Тут тотчас увидел митрополита новгородского и первенствующего члена св. Синода <Гавриила> с святым крестом в руках, который он всякому рядовому подносил для целования, и сие была присяга в верности службы императрице, которая уже во дворец приехала, будучи препровождена Измайловским полком; ибо из Петергофа привезена в оный была на одноколке графом Алексеем Григорьевичем Орловым, как опосле ему о том сказывали. День был самый ясный, и, побыв в сем дворце часу до третьего или четвертого по полудни, приведены пред вышесказанный деревянный дворец и поставлены от моста вдоль по Мойке. В сие время приходили пред сей дворец многие и армейские полки, примыкали по приведении полковников к присяге, по порядку, к полкам гвардии, занимая места по улицам Морским и прочим, даже до Коломны. А простояв тут часу до восьмого, девятого или десятого, тронулись в поход, обыкновенным церемониальным маршем, повзводно, при барабанном бое, по петергофской дороге в Петергоф. Императрица сама предводительствовала в гвардейском Преображенском мундире на белом коне, держа в

правой руке обнаженную шпагу. Княгиня Дашкова также была в гвардейском мундире. Таким образом маршировали всю ночь. На некотором урочище, не доходя до Стрельной, в полночь имели отдых. Потом двинулись паки в поход. Поутру очень рано стали подходить к Петергофу, где чрез весь зверинец, по косогору, увидели по разным местам расставленные заряженные пушки с зажженными фитилями, которые, как сказывали после, прикрыты были некоторыми армейскими полками и голстинскими баталионами; то все отдались государыне в плен, не сделав нигде ни единого выстрела. В Петергофе расположены были полки по саду, даны быки и хлеб, где, сварив кашу, и обедали. После обеда часу в 5-м увидели большую четырехместную карету, запряженную больше нежели в шесть лошадей, с завешенными гардинами, у которой на запятках, на козлах и по подножкам были гренадеры же во всем вооружении; а за ними несколько конного конвоя, которые, как после всем известно стало, отвезли отрекшегося императора от правления в Ропшу, местечко, лежащее от Петербурга в 30 верстах к Выборгской стороне. Часу по полудни в седьмом полки из Петергофа тронулись в обратный путь в Петербург; шли всю ночь и часу по полуночи в

12-м прибыли благополучно вслед императрице в Летний деревянный дворец, который был на самом том месте, где ныне Михайловский. Простояв тут часа с два, приведены в полк и распущены по квартирам.

День был самый красный, жаркий; то с непривычки молодой мушкетер еле жив дотащил ноги. Кабаки, погреба и трактиры для солдат растворены: пошел пир на весь мир; солдаты и солдатки в неистовом восторге и радости носили ушатами вино, водку, пиво, мед, шампанское и всякие другие дорогие вина и лили все вместе без всякого разбору в кадки и бочонки, что у кого случилось. В полночь на другой день с пьянства Измайловский полк, обуяв от гордости и мечтательного своего превозношения, что императрица в него приехала и прежде других им препровождаема была в Зимний дворец, собравшись без сведения командующих, приступил к Летнему дворцу, требовал, чтоб императрица к нему вышла и уверила его персонально, что она здорова... <...>

Государыня принуждена встать, одеться в гвардейский мундир и проводить их до их полка. Поутру издан был манифест, в котором хотя, с одной стороны, похвалено было их усердие, но, с другой, напоминалася воинская дисциплина и

чтоб не верили они рассеваемые злонамеренных людей мятежничьим слухам, которыми хотят возмутить их и общее спокойствие; в противном случае, впредь за непослушание они своим начальникам и всякую подобную дерзость наказаны будут по законам. За всем тем с того самого дня приумножены пикеты, которые в многом числе с заряженными пушками и с зажженными фитилями по всем мостам, площадям и перекресткам расставлены были. В таком военном положении находился Петербург, а особливо вокруг дворца, в котором государыня пребывание свое имела дней с 8-мь, то есть по самую кончину императора.

По водворении таким образом совершенной тишины объявлен поход гвардии в Москву для коронации ее величества, и в августе месяце Державин по паспорту отпущен был с тем, чтоб явиться к полку в первых числах сентября, когда императрица к Москве приближаться будет. Снабдясь кибитченкой и купя одну лошадь, потащился потихоньку. <...>

... приехал в Москву и, будучи в мундире Преображенском, на голстинский манер кургузом, с золотыми петлицами, с желтым камзолом и таковыми же штанами сделанном, с прусскою претолстою косою, дугою выгнутою, и пуклями,

как грибы подле ушей торчащими, из густой сальной помады слеplенными, щеголял пред московскими жителями, которым такой необыкновенный или, лучше, странный наряд казался весьма чудесным... <...>

Из села Петровского (ибо тогда еще подъезжачего подмосковного Петровского дворца построено не было) ездила государыня несколько раз инкогнито в Кремль. Потом всенародно имела свой торжественный въезд сквозь построенные парадом полки гвардейские и армейские, под пушечными с Кремля выстрелами и восклицаниями народа. 22 числа сентября в Успенском соборе, по обрядам благочестивых предков своих, царей и императоров российских, короновалась. Тогда отправлен был обыкновенный народный пир. Выставлены были на Ивановской Красной площади жаренные с начинкою и с живностью быки и пущены из рейнского вина фонтаны. Ввечеру город был иллюминирован. Государыня тогда часто присутствовала в Сенате, который был помещен в Кремлевском дворце; проходя в оный, всегда жаловала чиновных к руке, которого счастья, будучи рядовым, и Державин иногда удостоивался, нимало не помышляя, что будет со временем ее статс-секретарь и сенатор. На зиму

государыня изволила переехать в Головинский дворец, что был в Немецкой слободе. Тут однажды, стоя в будке позадь дворца в поле на часах, ночью, в случившуюся жестокую стужу и метель, чуть было не замерз; но пришедшая смена от того избавила. На масленице той зимы был тот славный народный маскарад, в котором на устроенном подвижном театре, едущем по всем улицам, представляемы были разные того времени страсти, или осмехались в стихах и песнях пьяницы, карточные игроки, подьячие и судьи-взяточники и тому подобные порочные люди, – сочинение знаменитого по уму своему актера Федора Григорьевича Волкова и прочих забавных стихотворцев, как то гг. Сумарокова и Майкова.

Стоял он, Державин, тогда также сперва с даточными солдатами на квартире во флигеле, в доме гг. Киселевых, который был, помнится, на Никитской или Тверской улице. Таковая неприятная жизнь ему наскучила, тем более, что не мог он удовлетворить склонности своей к наукам; а как слышно было тогда, что Иван Иванович Шувалов, бывший главный Московского университета в Казанской гимназии куратор, которому он известен был <...>, то и решился идти к нему и просить, чтоб он его взял с

собою в чужие края, дабы чему-нибудь там научиться. Вследствие чего, написав к нему письмо, действительно пошел и подал ему оное лично в прихожей комнате, где многие его бедные люди и челобитчики ожидали, когда он проходил их, дабы ехать во дворец. Он остановился, письмо прочел и сказал, чтоб он побывал к нему в другое время. Но как дошло сие до тетки его по матери двоюродной, Феклы Саввишны Блудовой, жившей тогда в Москве, в своем доме, бывшем на Арбатской улице, женщины по природе умной и благочестивой, но по тогдашнему веку непросвещенной, считающей появившихся тогда в Москве масонов отступниками от веры, еретиками, богохульниками, преданными антихристу, о которых разглашали невероятные басни, что они заочно за несколько тысяч верст неприятелей своих умерщвляют и тому подобные бредни, а Шувалова признавали за их главного начальника, то она ему, как племяннику своему, порученному от матери, и дала страшную нагонку, запрета накрепко ходить к Шувалову, под угрозой написать к матери, буде ее не послушает. А как воспитан он был в страхе божием и родительском, то и было сие для него жестоким поражением, и он уже более не являлся к своему покровителю; но отправлял, как выше явствует, наряду с прочими

солдатами, все возложенные низкие должности, а между прочим разносил нередко по офицерам отданные в полк с вечера приказы. <...> В одном из таковых путешествий случился примечательный и в нынешнем времени довольно смешной анекдот. Князь Козловский, живший тогда на Тверской улице, прапорщик третьей роты, известный того времени приятный стихотворец, у посещавшего его, или нарочно приехавшего славного стихотворца Василия Ивановича Майкова, читал сочиненную им какую-то трагедию, и как приходом вестового Державина чтение перервалось, который, отдав приказ, несколько у дверей остановился, желая послушать, то Козловский, приметя, что он не идет вон, сказал ему: "Поди, братец служивый, с богом; что тебе попусту зевать? ведь ты ничего не смыслишь", – и он принужден был выйти.

Наступила весна и лето, и хотя многие, как выше явствует, младшие произведены были, не токмо в капралы, но и в унтер-офицеры по протекциям, а Державин без протектора всегда оставался рядовым; но как стало приближаться восшествие императрицы на престол, 1763 году июня 28-го дня, а в такие торжественные праздники обыкновенно производство по полку нижних чинов бывало, то и решился он

прибегнуть под покровительство майора своего, графа Алексея Григорьевича Орлова. Вследствие чего, сочинив к нему письмо, с прописанием наук и службы своей, наименовав при том и обошедших его сверстников, пошел к нему и подал ему письмо, которое прочетши, он сказал: "Хорошо, я рассмотрю". В самом деле и пожалован он в наступивший праздник в капралы.

Тогда отпросился в годовой отпуск к матери в Казань, дабы показаться ей в новом чине. На дороге случилось приключение, ничего, впрочем, не значащее, но, однако, могущее в крайнее ввергнуть его злополучие. Прекрасная, молодая благородная девица, имевшая любовную связь с бывшим его гимназии директором, господином Веревкиным, который тогда возвращен был паки на прежнее свое место, быв за чем-то в Москве, отправлялась в Казань к своему семейству, сговорилась с ним и еще с одним гвардии же Преображенского полка капралом Аристовым вместе для компании ехать. В дороге, будучи непрестанно вместе и обходясь попросту, имел удачу живостью своею и разговорами ей понравиться так, что товарищ, сколь ни завидовал и из ревности сколь ни делал на всяком шагу и во всяком удобном случае возможные препятствия, но не мог воспретить соединению их пламени.

Натурально, в таковых случаях более оказывается в любовниках храбрости и рвения угодить своей любезной. В селе Бунькове, что на Клязьме, владения г. Всеволожского, перевозчики подали паром; извозчики взвезли повозки и выпрягли лошадей; но первые не захотели перевозить без ряды; а как они запросили неумеренную цену, которая почти и не под силу капральскому кошельку была, то и не хотел он им требуемого количества денег дать, а они разбежались и скрылись в кусты. Прошло добрых полчаса, и никто из перевозчиков не являлся. Натурально, красавице скучилось; она стала роптать и плакать. Кого же слезы любимого предмета не тронут? Страстный капрал, обнажа тесак, бросился в кусты искать перевозчиков и, нашед их, то угрозами, то обещанием заплатить все, что они потребуют, вызвал их кое-как на паром. Но как пришли на оный, то и требовали наперед денег в превосходном числе, чем прежде просили. Тут молодой герой, будучи пылкого нрава, не вытерпел обиду, вышел из себя и, схватя палку, ударил несколько раз кормщика. Он схватил свой багор и закричал прочим своим товарищам: "Ребята, не выдавай", – с словом с сим все перевозчики, сколько их ни было, кто с веслами, кто с шестами, напали на рыцарствующего

капрала, который, как ни отмахивался тесаком, но принужден был, бросившись в повозку, схватить свое заряженное ружье, приложился и хотел выстрелить; но к счастью, что ружье было новое, пред выездом из Москвы купленное и неодоержанное, курок крепок, то и не мог скоро спуститься. Мужики, увидя его ярость и убоявшись смерти, вмиг разбежались. Тогда он, отвязав маленький при берегу стоявший челнок, сел в него и переправился чрез Клязьму в помянутое село Буньково. Там, ходя по улице и по дворам, никого не находил; наконец вышел из приказной избы мужик довольно взрачный, осанистый, с большою бородою и, подпираясь посохом, с видом удивления, спросил: "Что ты, барин, так воюешь, разве к басурманам ты заехал? Чего тебе надобно?" Проезжий пересказал ему случившееся, жалуясь на притеснение перевозчиков. "Ну что же за беда? разве не можно было другим манером сыскать на них управы? Стиднота, молодой господин, озорничать, бегать с голым палахом по улице и пужать мир крещеный. Меня не испужаешь, велю схватить да связать и отвезу в город, так и будешь утирать кулаком слезы, но не поворачишь. Барин наш нас не выдаст" (который был тогда обер-прокурором в Сенате и в случае при дворе). Таковым

справедливым укором устыдил храбреца мужик. Это был бурмистр того селения. Насилу, кое-как будучи убежден, приказал перевозить за сходную цену все повозки.

Приехав в Казань, желал с красавицей своей чаще видеться; но, будучи небольшого чина и небогат, не мог иметь свободного хода к ней в покой <...> ...сии кратковременные любовные шашни тем и кончились: ибо более никогда уже не видал сего своего предмета.

Приехав из Шацка в оренбургскую деревню, куда приехала и мать его, прожил с нею там оставшееся летнее время; а в исходе сентября отправила она его в Оренбург по некоторым случившимся деревенским делам. <...>

По наступлении срока отправился в Петербург к полку. Таким же образом вел свою жизнь как прежде, упражняясь тихонько от товарищей в чтении книг и кропании стихов, стараясь научиться стихотворству из книги о поэзии, сочиненной г. Тредиаковским и из прочих авторов, как: гг. Ломоносова и Сумарокова. Но более ему других нравился, по легкости слога, помянутый г. Козловский... <...>

В сем промежутке времени едва не случилась с ним незапная страшная смерть. Ходил он по обыкновению в своем звании во вс" караулы, то в

одном из оных в Зимнем каменном дворце, когда он еще внутри не весь был выстроен, и в той половине, где после был придворный театр, а ныне апартаменты вдовствующей императрицы Марии Феодоровны, наверху в одном из самых вышних ярусов были две двери: одна в покой, в котором был пол, а другая – в другой, в котором был пролом до самых нижних погребов, наполненных каменными обломками; и как по лености не токмо офицеров, но и унтер-офицеров, приказано было ему ночью обойти все притины дозором, то он пошел, взяв фонащика, или солдата, который нес фонарь, казанского дворянина знакомого себе, по фамилии Потапова. Бегая по многим лестницам, не дожидаясь освещения проходов, пришел, наконец, к вышеописанному месту и хотел стремление свое продолжать далее, но вдруг услышал голос Потапова, далеко на низу лестницы от него отставшего, который кричал: "Постойте, куда вы так бежите?" Он остановился и лишь только осветил фонарь, то и увидел себя на пороге, или на краю самой той пропасти, о которой выше сказано. Один миг – и едва одни кости его остались бы на сем свете. Он перекрестился, воздал благодарение богу за спасение жизни и пошел куда было должно.

В сих годах, то есть в 1765-м и в 1766-м году, были два славные в Петербурге позорища, учрежденные императрицею, сколько для увеселения, столько и для славы народа. Первое, великолепный карусель, разделенный на четыре кадрили: на ассирийскую, турецкую, славянскую и римскую, где дамы на колесницах, а кавалеры на прекрасных конях, в блистательных уборах, показывали свое проворство метанием дротиков и стрельбою в цель из пистолетов. Подвигоположником был украшенный сединами фельдмаршал Миних, возвращенный тогда из ссылки. Другое, преузорочный под Красным Селом лагерь, в котором, как сказывали, около 50 тысяч конных и пеших собрано было войск для маневров пред государынею. Тогда в придворный театр впускаемы были без всякой платы одни классные обоего пова чины и гвардии унтер-офицеры; а низкие люди имели свой народный театр на Коммиссариатской площади, а потом из карусельного здания, на месте, где ныне Большой театр, на котором играли всякие фарсы и переведенные из Мольера комедии. <...>

Зимою объявлен поход ее величества в Москву. Державин <...> пожалован в фурьеры и командирован, под начальством подпоручика Алексея Ивановича Лутовинова, на ямскую

подставу для надзирания за исправностию наряженных с ямов лошадей, изготовленных для шествия императрицы и всего ее двора. <...> Тут первые написал правильные ямбические экзаметры на проезд государыни чрез реку того селения Мохост... <...>

В сие время досталось Державину при производстве в полку чрез чин подпрапорщика в каптенармусы, а января первого числа 1767 года – в сержанты... <...> Гвардия возвратилась в Петербург, а Державин на некоторое время отпросился для свидания с матерью И меньшим его братом, учившимся в гимназии при директорстве г. Каница, в Казань, где, и потом в оренбургской деревне, оставшуюся часть лета и осени в семействе своем прожил. Возвращаясь из отпуска, взял с собою и меньшего его брата из гимназии, которая была тогда под ведомством директора г. Каница.

Но, приехав в Москву и имев от матери поручение купить у господ Таптыковых на Вятке небольшую деревнишку душ 30, остановился... <...> И как стоял он тогда у двоюродного своего брата, господина Блудова, который и его двоюродный брат господин подпоручик Максимов, живши в одном с ним доме, завели его сперва в маленькую, а потом и в большую

карточную игру, так что он проиграл данные ему от матери на покупку деревни деньги. Тогда он забыл о сроке, хотел проигранные деньги возвратить; но как не мог, то, заняв у него, Блудова, купил деревню на свое имя и ему оную, с присовокуплением материнского имени, хотя не имел на то права, заложил. Попав в такую беду, ездил, так сказать, с отчаяния, день и ночь по трактирам искать игры. Спознакомился с игроками или, лучше, с прикрытыми благопристойными поступками и одеждою разбойниками; у них научился заговорам, как новичков заводить в игру, подборам карт, подделкам и всяким игрецким мошенничествам. Но, благодарение богу, что совесть или, лучше сказать, молитвы матери никогда его до того не допускали, чтоб предался он в наглое воровство или в коварное предательство кого-либо из своих приятелей, как другие делывали. Но когда и случалось быть в сообществе с обманщиками и самому обыгрывать на хитрости, как и его подобным образом обыгрывали, но никогда таковой, да и никакой выигрыш не служил ему впрок; следственно, он и не мог сердечно прилепиться к игре, а играл по нужде. Когда же не имел денег, то никогда в долг не играл, не занимал оных и не старался какими-либо

переворотами отыгрываться или обманами, лжами и пустыми о заплате уверениями доставать деньги; но всегда содержал слово свое свято, соблюдал при всяком случае верность, справедливость и приязнь. Если же и случалось, что не на что не токмо играть, но и жить, то, вапершись дома, ел хлеб с водою и марал стихи при слабом иногда свете полушечной сальной свечки или при сиянии солнечном сквозь щелки затворенных ставней. Так тогда, да и всегда проводил он несчастливые дни. А как он уже в такой распутной жизни просрочил более полугода, то <...> его благодетель Неклюдов <...> видя, что он за сроком столь долго проживает в Москве и слыша, что замотался, то, опасаясь чтоб не погиб, ибо разжалован бы был по суду в армейские солдаты, сжалился над ним и без всякой его просьбы в ордере между прочими полковыми делами к капитану-поручику московской команды Шишкову приписал, что когда сержант Державин явится, то причислить его к московской команде... <...> Он, став сим средством обеспечным от несчастья, пробыл несколько еще месяцев в Москве, вел жизнь не лучше как и прежде; а поелику жил он в помянутом доме Блудова с сказанным же его родственником Максимовым, то и случилось с ним несколько замечательных

происшествий.

Первое. Хаживала к ним в дом в соседстве живущего приходского дьякона дочь, и в один вечер, когда она вышла из своего дома, отец или мать, подозревая ее быть в гостях у соседей, упросили бутошников, чтоб ее подстерегли, когда от них выйдет. Люди их и Блудова увидели, что бутошники позаугольно кого-то дожидаются, спросили их; они отвечали грубо, то вышла брань, а потом драка; а как с двора сбежалось людей более, нежели подзорщиков было, то первые последних и поколотили. С досады за таковую неудачу и чтоб отмстить, залегли они в крапиве на ограде церковной, чрез которую должна была проходить несчастная грация. Ее подхватили отец и мать, мучили плетью и, по наущению полицейских, велели ей сказать, что была у сержанта Державина. Довольно сего было для крючков, чтобы прицепиться. На другой день, когда он часу по полудни в первом ехал из вотчинной коллегии, где был по своим делам, в карете четвернею, и лишь приблизился только к своим воротам, то вдруг ударили в трещотки, окружили карету бутошники, схватив лошадей под уздцы, и, не объявля ничего, повезли чрез всю Москву в полицию. Там посадили его с прочими арестантами под караул. В таком положении

провел он сутки. На другой день поутру ввели в судейскую. Судьи зачали спрашивать и домогаться, чтоб он признался в зазорном с девкою обхождении и на ней женился; но как никаких доказательств, ни письменных, ни свидетельских не могли представить на взводимое на него преступление, то, проволочив однако с неделю, должны были с стыдом выпустить, сообщая однако за известие в полковую канцелярию, где таковому безумству и наглости альгвазилов дивились и смеялись. Вот каковы в то время были полиция и судьи!

Второе. Познакомился с ним в трактирах по игре некто, хотя по роду благородный, знатной фамилии, но по поступкам самый подлый человек, который содержался в юстиции за подделку векселей и закладных на весьма большую сумму и подставление по себе в поручительство подложной матери, который имел за собою в замужестве прекрасную иностранку, которая торговала своими прелестями. В нее влюбился некто приезжий пензенский молодой дворянин, слабый по уму, но довольно достаточный по имуществу. Она с ведома, как после открылось, мужа с ним коротко обращалась и его без милости обирала, так что он заложил свое и материнское имение и лишился самых необходимо нужных ему

вещей. А как сей дворянин был с Державиным хороший приятель, то и сжалился он на его несчастье. Вследствие чего, будучи в один день в компании с мужем, слегка дал ему почувствовать поведение жены. Муж старался прикрыть ее и оправдать себя своим неведением; и хотя тогда прекратил разговор шутками, но запечатлел на сердце своем на него злобу за такое чистосердечное остережение. Он, спустя некоторое время, позвал его в гости к себе на квартиру жены и под вечер намерен был поколотить, а может быть, и убить; ибо когда Державин вошел в покои, то увидел за ширмами двух сидящих незнакомых, а третьего лежащего на постели офицера, которого раз видел в трактире игравшего несчастно на бильярде; ибо его на поддельные шары обыгрывали, что он шуткой и заметил офицеру. Хозяин, приняв гостя сначала ласково, зачал его помалу в разговорах горячить противоречиями и потом привязываться к словам, напоминая прежде слышанные им, относя их к обиде его и жены; ко как гость опровергал сильными возражениями свое невинное чистосердечие, то умышленник и начал кивать головой сидящим за ширмами и лежащему на постели, давая им знать, чтоб они начинали свое дело. Против всякого чаяния, лежащий

сказал: "Нет, брат, он прав, а ты виноват, и ежели кто из вас тронет его волосом, то я вступлюсь за него и переломаю вам руки и ноги"; ибо был он молодец, приземистый борец, всех проворнее и сильнее и имел подле себя орясину, то хозяин и все прочие соумышленники удивились и опешили. Это был господин землемер, недавно приехавший из Саратова, поручик Петр Алексеевич Гасвицкий, который о того времени сделался Державину другом. <...>

Наконец, кратко сказать, он, проживая в Москве в знакомстве с такового разбора людьми, чрезвычайно наскучил или, лучше сказать, возгнушавшись сам собою, взял у приятеля матери своей 50 руб., который прошен был от нее ссудить в крайней его нужде, бросился опрометью в сани и поскакал без оглядок в Петербург. Сие было в марте месяце 1770 года, когда уже начало открываться в Москве моровое поветрие. В Твери удержал было его некто из прежних его приятелей, человек распутной жизни, но кое-как от него отделался, издержав все свои деньжонки. На дороге занял у едущего из Астрахани садового ученика с виноградными к двору лозами 50 руб. и те в новгородском трактире проиграл. Остался у него только рубль один, крестовик, полученный им от матери, который он во все течение своей

жизни сберег. Подъезжая к Петербургу в 1770 году, как уже тогда моровое поветрие распространялось, нашел на Ижоре или Тосне заставу карантинную, на которой должно было прожить две недели. Это показалось долго, да и жить за неимением денег было нечем; то старался упросить карантинного начальника о скорейшем пропуске, доказывая, что он человек небогатый, платья у него никакого нет, которое бы окуривать и проветривать должно было; но как был у него один сундук с бумагами, то и находили его препятствием; он, чтобы избавиться от оногo, сжег при караульных со всем тем, что в нем ни было, и, преобратя бумаги в пепел, принес на жертву Плутону все, что он во всю молодость свою чрез 20 почти лет намарал, как то: переводы с немецкого языка и свои собственные сочинения в прозе и в стихах. <...>

Приехав, как выше сказано, в Петербург с одним рублем, благословением матери, занял на прожиток 80 рублей у Григорья Никифоровича Киселева, давнишнего своего приятеля, казанского помещика, с которым учились вместе в гимназии, служили в полку и гуляли на подставах. <...>

...на занятые у Киселева деньги выиграл сотни две рублей у <...> господина Протасова, заплатил

долг и пробавлялся кое-как, имея наиболее обхождение с ним, с Петром Васильевичем Неклюдовым и с капитаном Александром Васильевичем Толстым, у которого тогда и в 10-й роте находился. Сии трое честные и почтенные люди его крайне полюбили за некоторые его способности, что он изрядно рисовал или, лучше сказать, копировал пером с гравированных славнейших мастеров эстампов так искусно, что с печатными не можно было узнать рисованных им картин. Более же всего нравился он им за некоторое искусство в составлении всякого рода писем. Писанные им к императрице для всякого рода людей притесненных, обиженных и бедных всегда имели желаемый успех и извлекали у нее щедроты. <...>

В 1771 году переведен в 16-ю роту, в которой отправлял фельдфебельскую должность в самой ее точности и исправности... <...>

...в начале 1772 года, января 1-го дня, произведен гвардии прапорщиком в ту же 16-ю роту, в которой служил фельдфебелем. В самом деле, бедность его великим была препятствием носить звание гвардии офицера с пристойностию; а особливо тогда – более даже, нежели ныне, – предпочитались блеск, и богатства, и знатность, нежели скромные достоинства и ревность к

службе. Но как бы то ни было, ссудю из полку сукна, позументу и прочих вещей на счет жалованья (ибо тогда из полковой экономической суммы всегда комиссаром запасалось оных довольное количество) обмундировался он; продав сержантский мундир, купил агинские сапоги и, небольшую заняв сумму, и ветхую каретишку в долг у господ Окуневых, исправился всем нужным. Жил он тогда в маленьких деревянных покойчиках, на Литейной, в доме господина Удолова, хотя бедно, однако же порядочно, устранив от всякого развратного сообщества; ибо имел любовную связь с одною хороших нравов и благородного поведения дамою, и как был очень к ней привязан, а она не отпускала его от себя уклониться в дурное знакомство, то и исправил он помалу свое поведение, обращая между тем, где случай дозволял, с честными людьми и в игре, по необходимости для прожитку, но благопристойно. <...>

Отделение III

С ПОМЯНУТОГО ВОЗМУЩЕНИЯ ПО ВСТУПЛЕНИЕ ДЕРЖАВИНА В СТАТСКУЮ СЛУЖБУ

<...> Начну тем, что во время брачного торжества великого князя Павла Петровича с великою княжною Натальею Алексеевною, в 1773 году, в сентябре, стали разноситься по народу слухи о появившемся в Оренбургской губернии разбойнике, для поимки коего того краю посланы гарнизонные и прочие команды; а как несколько молва замолкла, то и думали, что беспокойство утушено. Но вдруг во дворце, на бале, в Андреев день, то есть 30 ноября, государыня, подошед к генерал-аншефу, Измайловского полку майору, Александру Ильичу Бибикову (которому пред тем наскоро было велено отправиться в главную армию под начальство графа Петра Александровича Румянцева, с которым тогда был он не весьма в приязни), объявила о возмущении, приказав ему ехать для восстановления спокойствия в помянутой губернии. Бибиков был смел, остр и забавен, пропел ей русскую песню: "Наш сарафан везде пригожается". Это значило то, что он туда и сюда был беспрестанно в важные

дела употребляем без отличных каких-либо выгод; а напротив того, от Румянцева и графа Чернышева, управляющего военною коллегией, иногда был и притесняем. Вследствие чего на другой день были к нему наряжены в ассистенты или помощники многие гвардии офицеры по его выбору, ему знакомые... <...>

Державин узнал сие, и как имел всегда желание употреблен быть в войне или в каком-либо отличном поручении, даже повергался иногда в меланхолию, что не имел к тому средства и удобства... <...> итак вздумал открывшимся случаем воспользоваться. Вследствие чего, хотя ему генерал Бибилов нисколько не был знаком но он решился ехать к нему и без рекомендации, слыша, что он человек разумный и могущий скоро проникать людей. Приехав, открыл ему свое желание, сказав, что слышал по народному слуху о поездке его в какую-то Секретную Комиссию в Казань; а как он в сем городе родился и ту сторону довольно знает, то не может ли он быть с пользою в сем деле употребленным? Бибилов отвечал, что он уже взял гвардии офицеров, ему людей известных, и для того сожалеет он, что не может исполнить его просьбы. Но как Державин остался у него еще на несколько <времени> и не поехал скоро, то он, вступая с ним в разговор, был им

доволен, однако же никакого не сделал обещания. Простясь, с огорчением от него поехал; но в приказе полковом свечеру с удивлением увидел, что по высочайшему повелению велено ему явиться к генералу Бибикову. Он сие исполнил и получил приказание чрез три дня быть к отъезду готовым. <...>

Хотя Державин весьма налегке, в нагольной овчинной шубе, купленной им за три рубля, отправился в Москву, но генерал Бибиков перегнал его: пробыв несколько дней в Москве, приехал в Казань декабря 25 числа, то есть в самый день рождества Христова. Прочие офицеры, наперед уже приехавшие и открывшие по повелению генерала заседания Секретной Коммиссии, по случаю тогда праздника, как люди достаточные, имевшие знакомых множество, а иные и сродников, занялись разными увеселениями; но Державин, пробыв с матерью уединенно в доме, старался от крестьян, приезжих из деревнишек своих, которые лежали по тракту к Оренбургу, узнать... о колебании народном: ибо известно было, что до приезда Бибикова многие дворяне и граждане разъехались было из города, но с прибытием его паки возвратились. Собрав таковые, сколь можно пообстоятельнее, известия, 28 числа на вечер приехал к генералу, когда у него

никого не было. Он по обыкновению спрашивал о новостях. <...>

По отслужении молебна об успехе оружия, приглашены были в квартиру главнокомандующего преосвященный Вениамин и все благородное собрание. Тут Бибиков, подойдя к Державину, тихо сказал: "Вы отправляетесь в Самару; возьмите сейчас в канцелярии бумаги и ступайте". Выговоря сие, смотрел пристально в глаза: может быть, хотел проникнуть, таков ли он рьян на деле, как на словах. Державин, сие приметя, <...> нашелся и отвечал: "Готов". Взял ту ж минуту из канцелярии запечатанные пакеты, которые надписаны по секрету, и велено было их открыть по удалении от Казани 30 верст. Простился с матерью, не сказав, куда едет; поскакал. <...>

Здесь влагается подлинный журнал с дополнением подробных примечаний на некоторые сокращенные обстоятельства.

<...> "Всемиловитейшая государыня! Ежели и самая жертва жизни ничто иное есть, как только долг государю и Отечеству, то никогда и не помышлял я, чтоб малейшие мои труды в прошедшее мятежное беспокойство заслуживали какое-либо себе уважение. Но когда, всемиловитейшая государыня, великой

прозорливости вашего императорского величества праведно показалось воззреть на трудившихся в то время, и по особливой матерней щедроте и получили товарищи мои, бывшие со мною в одной комиссии: Лунин, Маврин, Собакин и Горчаков, по желанию их, награждения. Остался я один не награжденным. Чувствуя всю тягость несчастья быть лишенным милости славящейся государыни щедротами в свете и сравнив себя, может быть по легкомыслию, с ними, нахожу, что я странствовал год целый <...>, был в опасностях, <...> и во все сие время не имел у себя ниже в письме помощника, а исполнял то же, что они; сверх того, когда еще войска не пошли и к Оренбургу, я был от покойного генерала Бибикова послан с секретным наставлением о наблюдении за самыми войсками, идущими для очищения Самарской линии; был в сражениях и, возвратясь, заслужил похвалу. Потом, находясь при нем с месяц, имел важную поверенность сочинять журнал всем к нему присланным повелениям, рапортам и от него данным диспозициям. А когда войска пошли к Оренбургу, то я же опять должен был, запечатав начатый мною журнал, ехать в новую посылку на реку Иргиз. <...> Имев кредитивы от покойного генерала Бибикова, не употребил их во зло и не более издержал денег в продолжение всей моей

комиссии 600 рублей; доставил нужных людей Секретной Комиссии, и уповаю, во всей тамошней области никаких не сыщется на меня жалоб. Между тем во все то время, отдавая спасенные мною имения их владельцам, как и немалое количество казенных, дворцовых и экономических денег и скота, принадлежащего колониям, на что имею квитанции, лишился я всего собственного моего имущества в Оренбургском уезде и в Казани, даже мать моя претерпела... плен. Поправить же себя щедротою вашего императорского величества, чтоб взять из учрежденных в губерниях банков денег, не мог, ибо имение мое заложено в С.-Петербургском банке.

Все сии происшествия сравнив с деяньями товарищей моих, вижу, всемилостивейшая государыня, что я несчастлив. Прошлого года в Москве принимал я смелость просить его светлость князя Григория Александровича Потемкина, яко главного моего начальника, заступить меня ходатайством своим пред вашим императорским величеством и получил отзыв, что вы, всемилостивейшая государыня, не оставите воззреть на мое посильное усердие, изъявив монаршее благоволение наградить меня, почему и приказал мне его светлость ожидать оного. Теперь

наступает тому другой год; надежда моя исчезла, и я забыт. Представляется мне, что не нахожусь ли за что под гневом человеколюбивой и справедливой монархини. Мысль сия меня умерщвляет, государыня! Ежели я преступник, да не допустит вины моей или заслуги более долготерпение твое без воздаяния".

Письмо сие подано в июле месяце в Петергофе, в присутствии там императрицы, ее статс-секретарю и полковнику, что был после графом и князем, Александру Андреевичу Безбородке, с приложением всех документов, на которые в нем была ссылка. По возвращении двора в Петербург, господин Безбородко объявил просителю, что воспоследовало на оное ее величества благоволение, и сказал бы он, какого награждения желает. Сей отвечал, что не может назначить и определить меры щедрот все милостивейшей государыни; но когда удостоена ее благоволения его служба, то после того уже ничего не желает и будет всем доволен, что ни будет ему пожаловано; ибо по жребию, чрез игру вышесказанной фортуны, не имел уже он такой нужды как прежде, заплатя долг в банк за Маслова до 20000 рублей и исправясь с избытком не только всем нужным, но и прихоть его удовлетворяющими вещами, так что между

своими собратьями и одет был лучше других, и жизнь вел приятную, не уступая самым богачам. В сие время коротко спознакомился с Алексеем Петровичем Мельгуновым, Степаном Васильевичем Перфильевым, с князем Александром Ивановичем Мещерским, с Сергеем Васильевичем Беклемишевым и прочими довольно знатными господами, ведущими жизнь веселую и даже роскошную. Сие продолжалось до ноября месяца того 1776 года; а как возвратился тогда из Новгорода посредством письма своего к императрице, поданного князем Вяземским, князь Потемкин, то в один день, в декабре уже месяце, когда наряжен был он, Державин, во дворец на караул и с ротою стоял во фронте по Миллионной улице, то чрез ординарца позван был к князю. Допущен будучи в кабинет, нашел его сидящего в креслах и кусающего по привычке ногти. Коль скоро князь его увидел, то по некотором молчании спросил: "Чего вы хотите?" Державин, не могши скоро догадаться, доложил, что он не понимает, о чем его светлость спрашивает. "Государыня приказала спросить, — сказал он, — чего вы по прошению вашему за службу свою желаете?" — "Я уже имел счастье чрез господина Безбородку отозваться, что я ничего не желаю, коль служба моя богоугодною ее величеству показалась". — "Вы

должны непременно сказать", — возразил вельможа. "Когда так, — с глубоким благоговением отозвался проситель, — за производство дел по Секретной Комиссии желаю быть награжденным деревнями равно со сверстниками моими, гвардии офицерами; а за спасение колоний по собственному моему подвигу, как за военное действие, чином полковника". — "Хорошо, — князь отозвался, — вы получите". С сим словом лишь только вышел из дверей, встретил его неблагоприятствующий ему майор Толстой, и с удивлением спросил: "Что вы здесь делаете?" — "Был позван князем". — "Зачем?" — "Объявить мое желание по повелению государыни", и словом, пересказал ему все без утайки. Он, выслушав, тотчас пошел к князю. Вышедши чрез четверть часа от него, сказал: "Вдруг быть полковником всем покажется много. Подождите до нового года: вам по старшинству достанется в капитаны-поручики; тогда и можете уже быть выпущены полковником". Нечего было другого делать, как ждать. Вот наступил и новый 1777 год, и подтвержден поднесенный от полку доклад, в котором пожалован я в бомбардирские поручики, что то же как и капитан-поручик. Потом и январь прошел, а об обещанной награде и слуху не было. Принужден был еще толкаться у

князя в передней. Наконец в феврале, проходя толпу просителей в его приемной зале едучи прогуливаться и увидев Державина, сказал правителю его канцелярии, бывшему тогда подполковнику Ковалинскому, сквозь зубов: "Напиши о нем докладную записку". Ковалинский, не зная содержания дела, не знал что писать, просил самого просителя, чтоб он написал. Сей изготовил по самой справедливости, ознаменовав при том желание произвести полковником в армию. Чрез несколько дней увидев, сказал, что князь не апробовал записки потому только, что "майор Толстой внушил ему, что вы к военной службе не способны, то и велел заготовить записку другую о выпуске вас в статскую службу". Державин представлял ему, что он за военные подвиги представляется к награждению и не хочет быть статским чиновником, просил еще доложить князю и объяснить желание его в военную службу; но как некому было подкрепить сего его искания, ибо никого не имел себе близких к сему полномочному военному начальнику приятелей, то князь и по второму докладу, как Ковалинский сказывал, на выпуск его в армию не согласился; а для того и принужден он был, хотя с огорчением, вступить на совсем для него новое поприще.

Отделение IV

С ОКОНЧАНИЯ ВОЕННОЙ ПРЕХОЖДЕНИЕ СТАТСКОЙ СЛУЖБЫ В СРЕДНИХ ЧИНАХ ПО ОТСТАВКУ

15 числа сего февраля <1777> даны правительствующему Сенату два указа, из коих одним пожалован он в коллежские советники и велено дать ему место по его способности, другим пожаловано ему 300 душ в Белорусской губернии, на которые приказано заготовить грамоту и поднести к высочайшему подписанию. Очутясь в статской службе, должно было искать знакомства между знатными людьми, могущими доставить место в оной. Скоро чрез семейство господ Окуневых, из коих старший брат тогда выдал дочь свою за князя Урусова, двоюродного брата генерал-прокурорши княгини Елены Никитичны Вяземской, познакомился в доме сего сильного вельможи, могущего раздавать статские места, будучи позван к нему на свадебный бал. С сих пор часто у него бывал и проводил с ним дни, забывая время в карточной, тогда бывшей в моде, игре в вист, хотя никогда в нее ни счастливо, ни несчастно играть не умел, но платил всегда проигранные деньги и исправно и с веселым

духом; потому наиболее, что князь вел игру с малочиновными и небогатыми людьми весьма умеренную. Таковым поступком, всегда благородным и смелым, понравился ему, приобрел его благоволение; при всем том с февраля по август не мог быть никуда помещенным. А как очистилось тогда Сената в первом департаменте экзекуторское место, которое пред тем занимал отец новобрачной, господин Окунев, получа выгоднейшее, с чином статского советника, при строении церкви Невского монастыря, Державин, приехав в один день поутру рано на дачу генерал-прокурора, лежащую на взморье близ Екатерингофа, нашел его чешущим волосы, и бедную старуху, стоящую у дверей. Подшедши просил его о помещении на порозжую вакансию. Он, не отвечав ни слова, приказал ему принять от той престарелой женщины бумагу, ею держимую, и прочетши про себя, сказать ему ее содержание. Он прочел, пересказал, и князь, взяв у него, ее собственным обозрением поверил, положил пред собой на столик и, на него взглянув, сказал: "Вы получите желаемое вами место", – и тот же день, поехав в Сенат, дал о том предложение. Должность сия, по отступлении от инструкции Петра Великого, хотя была тогда уже не весьма важная, однако

довольно видная. Отправляя ее, скоро приобрел он знакомство всех господ сенаторов и значущих людей в сем карьере, а особливо бывая всякий день в доме генерал-прокурора. Княгиня собственно своею персоною была благосклонна, и мысли ее были выдать за него в замужество сестру свою двоюродную, княжну Катерину Сергеевну Урусову, славную стихотворицу того времени, так что об этом ему некоторые ближние к ней люди и говорили; но он, имея прежние связи, отшутился от сего предложения, сказав, что она пишет стихи, да и я мараю, то мы все забудем, что и щей сварить некому будет. Словом, он был некоторого рода любимцем сего всеми тогда уважаемого дома. С князем по вечерам для забавы иногда играл в карты; а иногда читал ему книги, большею частию романы, за которыми нередко и чтец и слушатель дремали. Для княгини писал стихи похвальные в честь ее супруга, хотя насчет ее страсти и привязанности к нему не весьма справедливые, ибо они знали модное искусство давать друг другу свободу.

В сем году, около масленицы, случилось с ним несколько сначала забавное приключение, но после важное, которое переменяло его жизнь. Меньший из братьев Окуновых поссорился, быв на конском бегу, с <...> Александром

Васильевичем Храповицким, бывшим тогда при генерал-прокуроре сенатским обер-прокурором в великой силе. Они ударили друг друга хлыстиками и, наговорив множество грубых слов, решились ссору свою удовлетворить поединком. Окунев, прискакав к Державину, просил его быть с его стороны секундантом, говоря, что от Храповицкого будет служивший тогда в Сенате секретарем, что ныне директор дворянского банка, действительный статский советник Александр Семенович Хвостов. Что делать? С одной стороны, короткая приязнь препятствовала от сего посредничества отказаться, с другой, соперничество против любимца главного своего начальника, к которому едва только стал входить в милость, ввергало его в сильное недоумение. Дал слово Окуневу с тем, что ежели обер-прокурор первого департамента Резанов, у которого он в непосредственной состоял команде, который также был любимец генерал-прокурора и с ним, как Державин, по некоторым связям в короткой приязни, не попротиворечить сему посредничеству; а ежели сей того не одобрит, то он уговорит друга своего, вышеупомянутого Гасвицкого, который был тогда уже майором. С таковым предприятием поехал он тотчас к господину Резанову, его не нашел дома: сказали,

что он обедает у господина Тредиаковского, бывшего тогда старшего члена при герольдии, который по сей части был весьма значащий человек. Хотя сей жил на Васильевском острове, но он и туда поехал. Уже был вечер. При самом входе в покой встречается с ним бывшая кормилица великого князя Павла Петровича, который был после императором, г-жа Бастидонова с дочерью своею, девицею лет 17-ти, поразительной для него красоты; а как он ее видел в первый раз в доме господина Козодавлева <...> и тогда она уже ему понравилась, но только примечал некоторую бледность в лице, а потом в другой раз в театре неожиданно она его изумила; то тут в третий раз, когда она остановилась в передней с матерью, ожидая, когда подадут карету, не вытерпел уже он и сказал разговаривавшему с ним Резанову о том, зачем приехал, что он на сей девушке, когда она пойдет за него, женится. Сей засмеялся, сочтя таковую скорую решительность за шутку. Разговор кончился; мать с дочерью уехали, но последняя осталась неисходною в сердце, хотя дуэль, по несысканию Гасвицкого, осталась на его ответе. Должно было выехать в Екатерингоф на другой день в назначенном часу. Когда шли в лес с секундантами соперники, то последние, не будучи

отважными забияками, скоро примирены были первыми без кровопролития; и когда враги между собою целовались, то Хвостов сказал, что должно было хотя немножко поцарапаться, дабы не было стыдно. Державин отвечал, что никакого в том <нет> стыда, когда без бою помирились. Хвостов спорил, и слово за слово дошло было у посредников до драки: обнажили шпаги и стали в позитуру, будучи по пояс в снегу, но тут приехал опрометью вышедший только из бани разгневший, как пламенный, Гасвицкий с разного рода орудиями, с палашами, саблями, тесаками и проч., и, бросившись между рыцарей, отважно пресек битву, едва ли быть могущую тоже смертоносною. Тут зашли в трактир, выпили по чашке чаю, а охотники – пуншу, кончили страшную войну с обоюдным триумфом. И как среди бурного сего происшествия не вышла красавица из памяти у Державина, то, поехав с Гасвицким домой, открылся ему дорогою о любви своей и просил его быть между собою уже и победительницею его посредником; то есть на другой день в объявленный при дворе маскарад, закрывшись масками, вместе с ним поискать девицу, которая ему нравится, и беспристрастными дружескими главами ее посмотреть. Так и сделали. Любовник тотчас

увидел и с восторгом громко воскликнул: "Вот она!" — так что мать и дочь на них пристально посмотрели. Во весь маскарад, следуя по пятам за ними, примечали поведение особливо молодой красавицы, и с кем она и как обращается. Увидели знакомство степенное и поступь девушки, во всяком случае, скромную и благородную, так что при малейшем пристальном на нее незнакомом взгляде лицо ее покрывалось милою, розовою стыдливостию. Вздохи уже вырывались из груди улыбавшегося экзекутора; а его товарищ, человек простой, впрочем, умный и прямодушный, их одобрил. За чем дело стало? Державин уже имел некоторое состояние... <...>, то и взял он намерение порядочным жить домом, а потому и решился твердо в мыслях своих жениться. Вследствие чего и рассказал, будто шуткою, своим приятелям, что он влюблен, называя избранную им невесту ее именем. В первый день после маскарада, то есть в понедельник на первой неделе великого поста, обедая у генерал-прокурора, зашла речь за столом о волокитствах, бываемых во время карнавала, а особливо в маскарадах; Александр Семеныч Хвостов вынес на него прошедшего дня шашни. Князь спросил, правда ли то, что про него говорят. Он сказал: правда. "Кто такая красавица,

которая столь скоропостижно пленила?" Он назвал фамилию.

Петр Иванович Кириллов, действительный статский советник, правящий тогда ассигнационным банком, обедая вместе, слышал сей шутливый разговор, и когда встали из-за стола, то отведши на сторону любовника: "Слушай, братец, не хорошо шутить на счет честного семейства. Сей дом мне коротко знаком; покойный отец девушки, о коей речь идет, мне был друг; он был любимый камердинер императора Петра III, и она воспитывалась вместе с великим князем Павлом Петровичем, которого и называется молочною сестрою, да и мать ее тоже мне приятельница; то шутить при мне насчет сей девицы я тебе не позволю". – "Да я не шучу, – отвечивал Державин, – я поистине смертельно влюблен". – "Когда так, – сказал Кириллов, – что ты хочешь делать?" – "Искать знакомства и свататься". – "Я тебе могу сим служить". А потому и положили на другой же день ввечеру, будто ненарочно, заехать в дом Бастидоновой, что и исполнено. Кириллов, приехав, рекомендовал приятеля, сказав, что, проезжая мимо, захотелось ему напиться чаю; то он и упросил, показывая на приехавшего, войти к ним с собою. По обыкновенных учтивостях сели и, дожидаясь чаю,

вступили в общий общежительный разговор, в который иногда с великою скромностью вмешивалась и красавица, взяв чулок. Любовник жадными очами пожирал все приятности, его обворожившие, и осматривал комнату, приборы, одежду и весь быт хозяев, между тем как девка, встретившая их в сенях с сальною свечою в медном подсвечнике, с босыми ногами, тут уже подносила им чай; делал примечания свои на образ мыслей матери и дочери, на опрятность и чистоту в платье, особливо последней, и заключил, что хотя они люди простые и небогатые, но честные, благочестивые и хороших нравов и поведения; а притом дочь не без ума и не без ловкости, приятная в обращении, а потому она и не по одному прелестному виду, но и по здравому рассуждению ему понравилась, а более еще тем, что сидела за работою и не была ни минуты праздною, как другие ее сестры непрестанно говорят, хохочут, кого-либо пересуживают, желая показать остроту свою и умение жить в большом свете. Словом, он думал, что ежели на ней женится, то будет счастливым. Посидев таким образом часа два, поехали домой, прося позволения и впредь к ним быть въезжу новому знакомому. Дорогою спросил Кириллов Державина о расположении его сердца. Он

подтвердил страсть свою и просил убедительно сделать настоятельное предложение матери и дочери. Он на другой же день исполнил. Мать с первого разу не могла решиться, а просила несколько дней сроку, по обыкновению расспросить о женихе у своих приятелей. Экзекутор второго департамента Сената Иван Васильевич Яворский был также короткий приятель дому Бастидоновых. Жених, увидясь с ним в сем правительстве, просил и его подкрепить свое предложение, от которого и получил обещание; а между тем как мать расспрашивала, Яворский сбирался с своей стороны ехать к матери и дочери, дабы уговорить их на согласие. Жених, проезжая мимо их дому, увидел под окошком сидящую невесту и, имея позволение навещать их, решился заехать. Вошедши в комнату, нашел ее одну, хотел узнать собственно мысли в рассуждении его, почитая для себя недостаточным пользоваться одним согласием матери. А для того, подошедши, поцеловал по обыкновению руку и сел подле нее. Потом, не упуская времени, спросил, известна ли она чрез Кириллова о искании его? – "Матушка мне сказывала", – она отвечала. "Что она думает?" – "От нее зависит". – "Но если бы от вас, могу ли я надеяться?" – "Вы мне не противны", – сказала

красавица вполголоса, покрасневшись. Тогда жених, бросаясь на колени, целовал ее руку. Между тем Яворский входит в двери, удивляется и говорит: "Ба, ба! и без меня дело обошлось! Где матушка?" – "Она, – отвечала невеста, – поехала разведать о Гавриле Романовиче". – "О чем разведывать? я его знаю, да и вы, как вижу, решились в его пользу; то, кажется, дело и сделано". Приехала мать, и сделали помолвку, но на сговор настоящий еще она не осмелилась решиться без соизволения его высочества наследника великого князя, которого почитала дочери отцом и своим сыном. Чрез несколько дней дала знать, что государь великий князь жениха велел к себе представить. Ласково наедине принял в кабинете мать и зятя, обещав хорошее приданое, как скоро в силах будет. Скоро, по прошествии великого поста, то есть 18-го апреля 1778 года, совершен брак.

Того же года в августе выпросился в отпуск на 4 месяца, дабы показать новобрачную матери своей, жившей тогда в Казани. <...>

По возвращении из отпуска вступил он в прежнюю свою экзекуторскую должность и был в оной по декабрь 1780 года. В течение сих годов случилось два замечательные происшествия:

I) В 1779 году перестроен был под смотрением

его Сенат, а особливо вала общего собрания, украшенная червлёным бархатным ванавесом с золотыми франжами и кистями и лепными барельефами... <...> между прочими фигурами была изображена скульптором Рашеттом Истина нагая, и стоял тот барельеф к лицу сенаторов, присутствующих за столом; то когда изготовлена была та зала и генерал-прокурор князь Вяземский осматривал оную, то, увидев обнажённую Истину, сказал экзекутору: "Вели ее, брат, несколько прикрыть". И подлинно, с тех почти пор стали отчасу более прикрывать правду в правительстве... <...>

II) В 1780 году, будучи в Петербурге, австрийский император Иосиф под чужим именем посещал Сенат и, вступая в залу общего собрания, расспрося о производимых в ней государственных делах, сказал сопровождающему его экзекутору: "Подлинно, в пространной столь империи может совет сей служить великим пособием императрице".

В исходе того 1780 года учреждена экспедиция о государственных доходах, под ведомством того же генерал-прокурора, яко государственного казначея. Она разделялась на 4 части: на I, приходную, на II, расходную, на III, счетную, и IV, недоимочную; в каждой было по 3

советника и по одному председателю. Во вторую – из экзекуторов, тем же коллежским советником, переведен Державин. <...> Но как он был предприимчив, смел и расторопен и в экзекуторах уже поручал ему генералпрокурор следствие над сенатскими секретарями, что они ленились ходить на дежурство свое и медлили производством дел по их частям, то и почитался уже некоторым образом дельцом, более своих товарищей. Вследствие чего, когда нужно было написать должность экспедиции о государственных доходах, то князь, рассуждая о том, обращал свои взоры на господ Васильева и Храповицкого, кои после были, первый сам государственным казначеем, а второй статс-секретарем и наконец сенатором; но они, может быть, чтоб привести в замешательство нового дельца или по какой другой причине, указав на него, отозвались от сего труда, сказав, что они и без того обременены делами, а он свободнее их и написать может. Хотя сие князю было неприятно, ибо он не надеялся, чтоб несведущий законов мог написать правила казенного управления, требующие великого предусмотрения, осторожности и точности, но однако приказал. Что делать? должно исполнить волю начальника; а как не хотел пред ними уклониться и испрашивать у них мыслей и

наставления, то, собрав все указы, на коих основаны были камер- и ревизион-коллегии, статс-контора и самые вновь учрежденные экспедиции, приступил к работе; а чтоб не разбивали его плана и мыслей, заперся и не велел себя сказывать никому дома. Поелику была ему дика и непонятна почти материя, то марал, переменял и, наконец, чрез две недели составил кое-как целую книгу без всякой посторонней помощи. Представил начальнику, а сей, собрав все экспедиции, велел пред ними прочесть; но как никто не говорил ни хорошего, ни худого, то князь, желая слышать справедливое суждение, морщился, сердился, привязывался и наконец принялся поправлять сам единственно вступление или изложение причин названного им начертания должности экспедиции о государственных доходах, полагая, что без одного никоим образом не можно будет управлять казною государства, давая разуместь, что наказ или полную инструкцию сама императрица издать изволит. Товарищи думали, что без них не обойдется, что не удостоится конфирмации сие начертание и что их будут упрашивать переделать оное; однако, к великому их удивлению, чрез графа Безбородку получил князь высочайшую конфирмацию, что по оному велено было поступать. Хотя должно было

по листам скрепить и справить или констрасигнировать сию книгу Державину, яко писавшему оную, но присвоил сию честь Храповицкий, в каком виде должна она и поныне существовать в экспедиции о государственных доходах и есть оной правилом, ибо не слышно, чтобы дана была ей какая новая инструкция. <...>

...1782 года 28-го числа июня, то есть в день восшествия императрицы на престол, получил Державин чрез 6 лет чин статского советника. <...>

Надобно знать, что около сего времени, то есть в 1782 и 1783 году, не был уже к нему так благорасположен генерал-прокурор, как прежде <...>, по огласившейся уже тогда его оде "Фелице", которую двор отличным образом принял... <...> В один день, когда автор обедал у сего своего начальника, принесен ему почтальоном бумажный свиток с надписью: "Из Оренбурга от Киргизской Царевны мурзе Державину". Он удивился и, распечатав, нашел в нем прекрасную, золотую, осыпанную бриллиантами табакерку и в ней 500 червонных. Не мог и не должен он был принять это тайно, не объявив начальнику, чтобы не подать подозрение во взятках; а для того, подошед к нему, показал. Он, взглянув сперва гневно, проворчал: "Что за

подарки от киргизцев?" Потом, усмотрев модную французскую работу, с язвительною усмешкою сказал: "Хорошо, братец, вижу и поздравляю"; но с того времени закралась в его сердце ненависть и злоба, так что равнодушно но с вопрославившимся стихотворцем говорить не мог: привязываясь во всяком случае к нему, не токмо насмехался, но и почти ругал, проповедуя, что стихотворцы неспособны ни к какому делу. Все сие сносимо было с терпением, сколько можно, близ двух годов. <...>

Державин, увидев худую награду за его труды, решился оставить службу. Вследствие чего тот же час, вышедши в экспедиционную комнату, где случился служивший тогда там же советником князь Куракин, что при императоре Павле был генерал-прокурором, сказал ему, что он более служить с ними не намерен, и потом, сев за стол, тут же написал к князю письмо, просясь у него, для поправления расстроенного хозяйства своего, на два года, а ежели сего сделать не можно, то и совсем в отставку. Письмо сие отдав, для поднесения князю, — секретарю, — уехал домой. Сказавшись больным, не выходил из комнаты, и чрез несколько дней явился к нему господин Васильев, который <...> сказал между прочим, что письмо его лежит пред князем на столе и что он не

хочет по нем докладывать государыне, а велел формальную подать просьбу чрез герольдию в Сенат. Это означало немилость... <...> Державин, предусматривая, что нельзя там ему ужиться, где не любят правды, не согласился на примирение... <...>, а для того он и сказал наотрез г. Васильеву, что он служить у его сиятельства под начальством не может, — исполнит его повеление и подаст просьбу об отставке в герольдию, что немедленно и учинил. Сенат, согласно законам, поднес доклад императрице, в коем присудил, по выслуге его в чине статского советника года, наградить его чином действительного статского советника. А как императрица знала его сколько по сочинениям, столько и по ревностной службе его в минувшем мятеже и в экспедиции, что он обнаружил прямо государственный доход, то высочайше и подтвердила доклад Сената 15-го февраля 1784 года, отзывавшись по выслушании одного графу Безбородке: "Скажите ему, что я его имею на замечании. Пусть теперь отдохнет; а как надобно будет, то я его позову".

Отправив весь свой домашний быт зимним путем до Твери, а оттуда на судах по Волге в Казань к матери, прожил он в Петербурге еще несколько, искав занять валовую сумму до 18 тысяч рублей на расплату мелочных долгов, кои

его обременяли и без удовлетворения которых не мог он выехать из столицы. В течение февраля и марта вздумал он съездить в белорусские деревни, дабы, не видав их никогда, осмотреть, сделать как бы распоряжения или, прямо сказать, как они были оброчные, хозяйства никакого в них не было, то, уединясь от городского рассеяния, докончить в них в уединении начатую им еще в 1780 году, в бытность во дворце у всенощной в день Светлого воскресенья, оду "Бог". А потому, согласив жену несколько с ним расстаться, отправился в путь. Но доехав до Нарвы, приметя, что дорога начинала портиться и что в деревне в крестьянских избах неловко будет ему заняться сочинением, то, оставя повозку и с людьми на ямском постоялом дворе, нанял в городе у одной престарелой немки небольшой покойчик, с тем чтоб она ему и кушанье приготавливала, докончил ту оду и еще также прежде начатую под названием "Видение Мурзы". Прожив в сем городке с небольшим неделю, возвратился в Петербург. Отдал в месячное издание под названием "Собеседник" напечатать помянутую оду "Бог", как и прочие его сочинения напечатаны были в том журнале, который начало свое возымел, как и самая Российская Академия, от вышесказанной оды "Фелицы", о коей в особых примечаниях на

все его сочинения подробно изъяснено будет. Сыскав же нужные деньги у господж Еропкиных, готов был совсем отправиться; но вдруг получил из Царского Села чрез графа Безбородку известие, что государыня назначает его губернатором в Олонецк, которую губернию в том году должно было вновь открыть, то и потребовалось его согласие. Будучи у императрицы в хорошем мнении, неблагоприятно бы было не согласиться на ее волю. Но как он отправил уже весь свой экипаж в Казань и престарелая мать давно ожидала его к ней прибытия, то и просил он на некоторое время отпуска. Дан оный ему до декабря, то есть до того времени, когда назначено открыть губернию. А потому и последовал об определении его в губернаторы в Олонецк указ 20-го мая 1784 года. Генерал-прокурор, получив его, сказал любимцам своим, около его стоящим, завидующим счастью их сотоварища, что разве по его носу полезут черви, нежели Державин просидит долго губернатором.

Отделение V

С ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕГО В ГУБЕРНАТОРЫ ДО УДАЛЕНИЯ ЕГО ОТ ОНОГО ЗВАНИЯ И ВОЗВЕДЕНИЯ В ВЫШНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЧИНЫ И ДОЛЖНОСТИ

Определенный в Олонецк губернатором, поехал он в Казань, но матери уже не застал в живых. За три дня до приезда его она скончалась. Оплавав ее смерть, поехал он в оренбургскую свою деревню, дабы показать ее жене своей, как по дороге лежащие рязанскую и казанскую он ей показывал; пожив в ней не более трех дней, предпринял возвращение в Петербург. На дороге случилось несчастье, что кучер, въехав нечаянно на косогор, опрокинул коляску: жена жестоко разбила висок о хрустальный стакан, в сумке коляски находившийся; с тех пор она до безумия стала бояться скорой езды в каретах, когда, напротив того, прежде любила скакать во всю пору. Приехав в Петербург, надобно было на заведение дома губернаторского и на заплату Еропкиным <иметь деньги>: хотя для первого пожаловано было государынею две тысячи, но для второго просил в банке. <...>

Но как настало время непременно ехать в Олонецк, и новый губернатор, быв представлен на аудиенцию императрице, откланялся уже ей в кабинете, то, заняв деньги у банкиров по 14-ти процентов, закупил, что ему было нужно для заведения своего, и поехал. По прибытии в Петрозаводск, губернский город Олонецкой губернии, нашел уже там генерал-губернатора, господина генерал-поручика и кавалера Тимофея Ивановича Тутолмина. Поелику же вещи, нужные Державину, как то и домашние мебели, отправленные с осени водою, уже привезены были, и снабдил он ими губернаторский дом и даже присутственные места, ибо там ничего не было, как равно привез с собою и канцелярских служителей, а между прочими и секретаря Грибовского (который после замечательную роль играть будет), то при обыкновенных духовных церемониях и торжестве в доме генерал-губернатора и открыта была губерния в исходе декабря <1784> и присутственные места начали свое действие. С первых дней наместник и губернатор дружны были, всякий день друг друга посещали, а особливо последний первого; хотя он во всех случаях оказывал почти несносную гордость и превозношение, но как это было не в должности, то и подлаживал его правитель

губернии, сколько возмог и сколько личное уважение требовало. Но когда он прислал в губернское правление при своем предложении целую книгу законов, им написанных и императорскою властью не утвержденных <...>, усомнился Державин принять те законы к исполнению, а для того пошел к нему в дом, взяв с собою печатный указ, состоявшийся в 1780 году, в котором воспрещалось наместникам ни на одну черту не прибавлять своих законов и исполнять в точности императорскою только властью изданные; ежели ж в новых каковых установлениях необходимая нужда окажется, то представлять Сенату, а он уже исходатайствует её священную волю. Прочетши сей закон, наместник затрясся и, побледнев, сказал (надеясь на благорасположение к себе и на ненависть ко мне князя Вяземского): "Я пошлю к генерал-прокурору курьера, и что он мне скажет, так и сделаем". Чрез несколько дней показал он Державину письмо князя Вяземского, который ему отвечал: "Чего, любезный друг, в законах нет, того исполнять невозможно". После того получил от него письмо, вследствие которого сказал Державину, чтоб он пересмотрел те присланные им законы, и которые не противны учреждению и регламентам, те бы принял к исполнению, а

которые противны, те оставил без исполнения. Это Державин исполнил: пересмотрел обязанность губернского правления и несходственное с учреждением и другими законами отверг, а о прочих сказал в определении, учиненном в правлении, чтоб присутственные места, подчиненные губернскому правлению, и палаты, каждое по своей должности, поступали бы по законам, и в случае невозможности, чрез стряпчих и прокуроров учиня замечания, представили бы куда следует. Так и сделано. Таким образом и пошло кое-как течение дел. Наместник казался довольно дружен: всякий вечер и с женами бывали вместе на вечеринках друг у друга. Но спустя несколько времени объявил он, что хочет осматривать присутственные места в рассуждении канцелярского порядка и течения самых дел. На другой день и действительно приступил к свидетельству. Начал с губернского правления. По глупому честолюбию его и чрезвычайному тщеславию, желалось ему, чтоб была встреча ему сделана, так сказать, императорская, то есть чтоб он встречен был губернатором и всеми присутствующими чинами на крыльце; но Державин принял его точно по регламенту, то есть встал и с советниками с места, показал ему президентские кресла, сам сел по

правую сторону на стул. Наместник делал разные вопросы и привязывался к учрежденному порядку, то есть к заведенным записным книгам и прочему... <...> Словом, наместник не мог ни к чему дельной учинить привязки, выехал из правления для освидетельствования палат и других мест. Державин не почел за нужное провожать его туда, тем более представлять ему те места; ибо они учреждены были под собственным распоряжением самого генерал-губернатора, то губернатор и не вправе почел себя представлять то, что не он учреждал, тем паче таковые наместниковы постановления, которые противны были законам. Сие было ему также неприятно. Вследствие чего, когда он приехал к нему на обыкновенную ввечеру беседу, то он между разговорами, при многих прочих чиновниках, хвалил палаты, а особливо казенную и уголовную, которые, хотя по собственным его прежним отзывам и по бумагам, были крайне неисправны, особливо же относил неудовольствие свое на нижние присутственные места, подчиненные губернскому правлению, говоря, что как они зависят от губернатора, то и должен довести недеятельность их до высочайшего сведения императрицы (губернатор его также в общем разговоре спросил: чем же он недоволен

теми местами? — "Неисполнением его учреждений", — он отвечал. Губернатор сказал, что он наместник был сам в губернском городе, следовательно, и зависела от него, яко от президента губернского правления, всякая поправка подчиненных ему мест); и что он непременно будет жаловаться ее величеству на губернатора, не токмо не помогавшего ему в ведении его благоучреждений, но расположенного против оных. Державин сказал, что готов отвечать на все то, что ему доносить угодно будет; но как это было между дружеских разговоров, то и не думал, чтоб имело какое впредь последствие. Накануне дал знать об отъезде своем в столицу губернскому правлению, а как губернатор приехал к нему с прочими чиновниками проститься и принять приказание, то он, важным и надменным образом пред всеми сделав ему выговор за его якобы неисправность, сказал, что он донесет о том ее величеству. Державин учтиво отвечал то же, что прежде, — что он будет отвечать.

Вследствие чего, когда выехал наместник из границ губернии, то он дал губернскому правлению предложение, в котором сказал, что он по учреждению о губерниях в небытность генерал-губернатора, по губернскому наказу 1764

года, намерен лично освидетельствовать все присутственные места и палаты относительно их обрядов и течения дел, дабы быть в состоянии ответствовать, когда по жалобе наместника на него последует от вышней власти неудовольствие или какое взыскание. <...> Само по себе открылось великое неустройство и несогласица с существовавшими законами и регламентами, по коим места должны были отправлять их должности, ибо они поступали не по законам, а по новым постановлениям наместника. Словом, обнаружилось не токмо наглое своеволие и отступление наместника от законов, но сумасбродство и нелепица, чего исполнить было невозможно, или по крайности бесполезно. <...> Таковые сумасбродства, записанные в журналах каждого правительства и суда, Державин приказал в засвидетельствованных копиях внести тогда же в губернское правление, а подлинные, впредь для справок, оставить у себя, что всеми присутственными местами и исполнено. Тогда Державин, прописав выговор, сделанный ему за неисправность наместником, и, сославшись на сии канцелярские акты, послал донесение к императрице. <...> Формального ответа не было; но известно после стало, что наместник был лично призван пред императрицею, где ему прочтено

было донесение губернаторское, и он должен был на коленях просить милости. С марта месяца <1785>, когда наместник отправился в столицу, лето целое прошло в безызвестен, чем решится или решилось происшествие между губернатором и наместником.

Между тем зачали оказываться неудовольствия наместника и разные притеснения и подыски на губернатора. <...> Между прочими, коих всех описывать было б пространно и не нужно, подан был протест от прокурора в медленном якобы течении дел. Сие было одно пресмешное о медведе. Надобно его описать основательнее, дабы представить живее всю глупость и мерзость пристрастия. По отъезде наместника скоро к брат его двоюродный, полковник Николай Тутолмин, бывший председателем в верхнем земском суде, отпущен был в отпуск на 4 месяца. На Фоминой неделе того суда заседатель Молчин шел в свое место мимо губернаторского дома поутру; к нему пристал, или он из шутки заманил с собою жившего в доме губернатора ассессора Аверина медвежонка, который был весьма ручен и за всяким ходил, кто только его приласкивал. Приведши его в суд, отворил двери и сказал прочим своим сочленам шутя: "Вот вам, братцы, новый заседатель, Михаила Иванович Медведев".

Посмеялись и тотчас же выгнали вон без всякого последствия. Молчин, вышедши из присутствия в обыкновенный час, зашел к губернатору обедать, пересказал ему за смешную новость сие глупое происшествие. Губернатор, посмеявшись, сказал, что дурно так шутить в присутственных местах и что ежели <дойдет> до него как формою, то ему сильный сделает напругай. Прошел месяц или более, ничего слышно не было. Напоследок дошли до него слухи из Петербурга, что некто Шишков, заседатель того же суда, в угождение наместнику, довел ему историю сию с разными нелепыми прикрасами; а именно, будто медвежонок, по приказанию губернатора, в насмешку председателя Тутолмина, худо грамоте знающего, приведен был нарочно Молчиным в суд, где и посажен на председательские кресла, а секретарь подносил ему для скрепы лист белой бумаги, к которому, намарав чернилами, лапу медвежонка прикладывали, и будто как прочие члены стали на сие негодовать, приказывая сторожу медвежонка выгнать, то Молчин кричал: "Не трогайте, медвежонок губернаторский". Хотя очевидна была таковая или тому подобная нелепица всякому, но как генерал-прокурору и генерал-губернатору она была благоугодна, то рассказывали ее по домам за удивительную

новость и толковали весьма для Державина невыгодно, и видно, сделан был план в Петербурге, каким образом клевету сию произвести самым делом. В июле месяце, когда председатель Тутолмин возвратился из Петербурга к своему месту, то, не явившись к губернатору, в первое свое присутствие в суде сделал журнал о сем происшествии по объявлению ему якобы от присутствующих. Услышав о сем, губернатор посылал к нему, чтоб он прежде с ним объяснился, нежели начинал дело на бумаге, более смеха, нежели уважения достойное. Он сие пренебрег и вошел рапортом в губернское правление: выводя обиду ему и непочтение присутственному месту, просил, во удовлетворение его, с кем следует поступить по законам. Губернатор, получа такой странный рапорт и приметя в нем, что будто о каком государственном деле донесено во известие и наместнику, то чтоб не столкнуться с ним в резолюциях, медлил несколько своим положением, дабы увидев, что прикажет наместник, то и исполнить. Но как от него также никакого решения не выходило, то прокурор и вошел с протестом, что дела медлятся, указывая на помянутый рапорт верхнего земского суда.

Губернатор, видя, что к нему привязываются

всякими вздорами, дал резолюцию, чтоб, призвав наместника Тутолмина в губернское правление, поручить ему сделать выговор заседателю Молчину за таковой его неуважительный поступок месту и рекомендовать впредь членам суда быть осторожнее, чтоб они при таковых случаях, где окажется какой беспорядок, шум или неуважение месту, поступали по генеральному регламенту, взыскивая тотчас штраф с виновного, не выходя из присутствия. Наместник, получа таковую резолюцию, и как она ему не понравилась, то будто не видал ее, а по рапорту суда предложил губернскому правлению отдать Молчина под уголовный суд. Державин, получа оное, сказал, что он по силе учреждения переменить определения gubernского правления не может, а предоставляет наместнику по его должности рапортовать на него Сенату. Губернский прокурор и наместник – один с протестом, а другой – с формальною жалобою отнесли <к> сему правительству. Генерал-прокурор рад был таковым бумагам; подходя к сенаторам, говорил всякому его тоном: "Вот, милостивцы, смотрите, что наш умница стихотворец делает: медведей – председателями". Как известно, что Сенат был тогда в крайнем порабощении генерал-прокурора и что много тогда также и наместники уважались,

то и натурально, что строгий последовал указ к Державину, которым требовалось от него ответа, как бы по какому государственному делу. Ежели бы не было опасности от тех, кто судит, то никакой не было трудности ответствовать на вздор, который сам по себе был ничтожен и доказывал только пристрастие и недоброхотство генерал-прокурора и наместника; но как столь сильных врагов нельзя было не остерегаться, то Державин заградил им уста, сказав между прочим в своем ответе, что в просвещенный век Екатерины не мог он подумать, чтоб почлось ему в обвинение, когда он не почел страшного сего случая за важное дело и не велел произвести по оному следствия, как по уголовному преступлению, а только словесный сделал виноватому выговор, ибо даже думал непристойным под именем Екатерины посылать в суд указ о присутствии в суде медведя, чего не было и быть не могло. Как бы то ни было, только Сенат, потолковав ответ, положил его, как называется, в долгий ящик под красное сукно. — Множество было подобных придинок, но все пред невинностью и правотою, под щитом Екатерины, невзирая на недоброхотство Вяземского и Тутолмина, исчезли. Державин был переведен в лучшую, Тамбовскую губернию. В исходе, однако,

летних месяцев, чтоб как-нибудь очернить Державина и доказать неуважение его к начальству и непослушность, Туттолмин делает ему такие поручения, которые, с одной стороны, были не нужны, а с другой, в исполнении почти невозможны. В исходе августа прислал он повеление осмотреть губернию и открыть город Кемь, лежащий при заливе Белого моря, недалеко от Соловецкого монастыря. Это почти было невозможное дело, потому что в Олонецкой губернии, по чрезвычайно обширным болотам и тундрам, летним временем проезду нет, а ездят зимою, и то только гусем; в Кемь же только можно попасть из города Сум на судах, когда молебщики в мае и июне месяцах ездят для моления в Соловецкий монастырь, а в августе и прочие осенние месяцы, когда начинаются сильные противные погоды, никто добровольно, кроме рыбаков в рыбацких лодках, не ездит. Но Державин, невзирая на сии препятствия, дабы показать всегдашнюю его готовность к службе, предпринял исполнить повеление наместника, и действительно исполнил, хотя с невероятною почти трудностью, объезжая более 1500 верст то верхом на крестьянских лошадях по горам и топям, то в челночках по озерам и рекам, где не токмо суда, но и порядочные лодки проезжать не

могут. Приехав в Кемь, не нашел тут не токмо присутственных мест, ни штатной команды, но ниже одного подьячего, хотя наместник его уверил, что он все нужное найдет там готовым. Из сего понятен был, можно сказать, злодейский умысел наместника, потому что ежели б Державин не поехал, то бы он сказал, что он непослушен начальству или по трусости неспособен к службе: в противном случае, он почти уверен был, что благополучно не может совершить сего опасного путешествия, что и сделалось было самым делом, как ниже увидим. Но божий промысл против злых намерений человеков делает, что ему угодно. Державин, приехав в Кемь, увидел, что нельзя открывать города, когда никого нет. Однако, чтоб исполнить повеление начальника, он велел сыскать священника, которого чрез два дня насилу нашли на островах на сенокосе, велел ему отслужить обедню и потом молебен с освящением воды, обойти с крестами селение и, окропя святою водою, назвать по высочайшей воле городом Кемью, о чем оставил священнику письменное объявление, приказав о том по его команде отрапортовать Синоду, а сам таковой же рапорт послал в Сенат. Возвращаясь, хотел было заехать в Соловецкий монастырь, который лежит от Кеми верстах в 60; но с одной стороны, как монастырь

Соловецкий Архангельской губернии, то не хотел он без позволения выехать из своей, а с другой, как поднялся противный ветер, и был он в шестивесельной рыбацкой <лодке>, в которой против погоды плыть по морю никоим образом было невозможно, то и приказал направлять свою лодку по погоде, и как уже день склонялся на вечер, надобно было доехать засветло до синеющих впереди каменных пустых островов или морских курганов. Но восстала страшная буря, молния и гром, так что нельзя было без освещения молнии и различать совсем предметов; то и проехали было совсем назначенные к отдохновению своему острова; но лоцман по домёкам узнал, что те острова вправо и что почти их проезжаем. Ежели к островам, то ветер будет боковой или, как мореходцы называют, бедевен, а ежели прямо по ветру, то может легко замчать в средину Белого моря или в самый океан. Державин приказал держать к островам вправо. Лишь руль повернули, паруса упали, лодка искосилась набок, то и захлебнулась было волнами, и неминуемо бы потонули; но бог чудным <образом> спас погибающих. Державин хотя никогда не бывал на море, но не оробел и не потерял духу, когда бывшие с ним экзекутор, вышеупомянутый Емин и секретарь Грибовской,

который после был статс-секретарем при императрице, замертво почти без чувств лежали, да и самые гребцы, как были лапландцы, неискусные мореходцы, оцепенели, так сказать, и были недвижимы, то одна секунда и вал надобны были к погребению всех в морской бездне. В самое сие мгновение Державин вскочил, закричал на гребцов, чтоб не робели, подняли веслы, на которые лодка несколько оперлась и вдруг очутилась за камнем, который волнами воспрепятствовал ее залить. Таковым, можно сказать, чудом спаслись от потопления, и Державин тогда в уме своем подумал, что, зная, он еще промыслом оставлен для чего-нибудь на сем свете. В память сего после написал он оду под названием "Буря", которая напечатала в первой части его сочинений. Переночевав на сих островах, или, лучше сказать, пустых камнях, поутру, хотя также не без опасности, но приехали благополучно в город Онегу Архангельской губернии; оттуда же сухим путем в город Каргополь, который есть наилучший в Олонецкой губернии как хлебопашеством, так и торговлею.

Возвратился из сего путешествия в исходе сентября и скоро после того получил указ о перемещении в Тамбовскую губернию <...> и отправился в Петербург, оставя благополучно

навсегда Олонецкую губернию, не сделав никого несчастливым и не заведя никакого дела.

Пробыв в оном до марта, поехал в нововверенную ему Тамбовскую губернию, прекратя некоторые дурные на него внушения императрице от известных его недоброжелателей и их приятелей...

По приезде в Тамбов, в исходе марта или в начале апреля <1786>, нашел сию губернию по бывшем губернаторе Макарове, всем известном человеку слабом, в крайнем расстройстве. Сначала с генерал-губернатором графом Гудовичем весьма было согласно, и он губернатором весьма был доволен, как по отправлению его настоящей должности, так и по приласканию общества и его самого: когда он летом посетил Тамбов, в честь его был устроен праздник... <3...> Таковые были в продолжение лета, осени и зимы и даже в наступающем году; но они не токмо служили к одному увеселению, но и к образованию общества, а особливо дворянства, которое, можно сказать, так было грубо и необходимо, что ни одеться, ни войти, ни обращаться, как должно благородному человеку, не умели, или редкие из них, которые жили только в столицах. Для того у губернатора в доме были всякое воскресенье собрания, небольшие балы, а по четвергам

концерты, в торжественные же, а особливо в государственные праздники — театральные представления, из охотников, благородных молодых людей обоего пола составленные. Но не токмо одни увеселения, но и самые классы для молодого юношества были учреждены поденно в доме губернатора таким образом, чтоб преподавание учения дешевле стоило и способнее и заманчивее было для молодых людей; например, для танцевального класса назначено было два дня в неделю после обеда, в которые съезжались молодые люди, желающие танцевать учиться. Они платили танцмейстеру и его дочери, которые нарочно для того выписаны были из столицы и жили в доме губернатора, по полтине только с человека за два часа, вместо того, что танцмейстер не брал менее двух рублей, когда бы он ездил к каждому в дом. Такое же было установление и для классов грамматики, арифметики и геометрии, для которых приглашены были за умеренные цены учителя из народных училищ, у которых считалось за непристойное брать уроки девицам в публичной школе. Дети и учителя были обласканы, довольствованы всякий раз чаем и всем нужным, что их чрезвычайно и утешало и ободряло соревнованием друг против друга. Тут рисовали и шили, которые повзрослев девицы, для

себя театральное и нарядное платье по разным модам и костюмам, также учились представлять разные роли. Сие все было дело губернаторши, которая была как в обращении, так и во всем в том великая искусница и сама их обучала. Сие делало всякий день людство в доме губернатора и так привязало к губернаторше все общество, а особливо детей, что они почитали за чрезвычайное себе наказание, ежели когда кого из них не возьмут родители к губернатору. Несмотря на то, чрезвычайная "охранялась всегда пристойность, порядок и уважение к старшим и почтенным людям. О сем долгое время сохранялась, да и поныне сохраняется память в тамошнем краю.

<...>Но губернатор в сии увеселения почти не мешался, и они ему нимало не препятствовали в отправлении его должности, о которой он беспрестанно пекся, а о увеселениях, так же, как и посторонние, тогда только узнавал, когда ему в кабинет приносили билет и клали пред него на стол. Сие его неусыпное занятие должностию обнаруживалось скорым и правосудным течением дел и полицейскою бдительностью по всем частям управы благочиния, что также всем не токмо тогда было известно, но и доныне многим памятно. Сверх того, сколько мог, он

вспомоществовал и просвещению заведением типографии, где довольное число печаталось книг, переведенных тамошним дворянством, а особливо Елисаветою Корниловною Ниловой. Печатались также и для поспешности дел публикации и указы, которые нужны были к скорейшему по губернии сведению; были также учреждены и губернские газеты для известия о проезжих чрез губернию именитых людях и командах, и о ценах товаров... <...> Словом: в 1786 и 1787 году все шло в крайнем порядке, тишине и согласии между начальниками. <...>

...успехи, тотчас показавшиеся от учения, как-то между прочим, например, что чрез несколько месяцев появилось во всем Тамбове в церквях итальянское пение. Это было сделано так, что один придворный искусный певец, спадший с голоса, служил секретарем в нижней расправе и в состоянии был учить класс вокальной музыке. А как известно, что купечество в России везде охотники до духовного пения, то губернатор, прибавя сказанному секретарю несколько жалованья из приказа общественного призрения к получаемому им из расправы, велел учредить певческий класс по воскресеньям для охотников: то тотчас и загремела по городу вокальная музыка. Забавно и приятно видеть, когда

слышишь вдруг человек 490 детей, смотрящих на одну черную доску и тянущих одну ноту. А как и другие науки (как то арифметика), чтение и писание прекрасное показались по городу, и сенаторы граф Воронцов и Нарышкин, в начале 1787 года осматривавшие губернию, подтвердили народную похвалу императрице относительно правосудия, успешного течения дел, безопасности, продовольствия народного и торговли, также приятных собраний и увеселений, так что начало знатное дворянство не токмо в губернский город часто съезжаться, но и строить порядочные дома для их всегдашнего житья, переезжая даже из Москвы; то все сие и ввело в наместнике некоторую зависть. Сие прежде всего приметно стало из того, что он зачинал к себе требовать и брать артистов, против воли губернатора и их самих, в Рязань для устройства там театра и прочих увеселений, — как то машиниста, живописца и балетмейстера, которых губернатор старанием своим выписал и содержал разными вымышленными им без ущерба казны и чьей-либо тягости способами, как то выше явствует.

Но в течение сего же года открылось уже явное наместника неудовольствие против губернатора. <...> Надобно знать, что наместник сей, или генерал-губернатор, был, как выше

сказано, господин Гудович, человек весьма слабый, или, попросту сказать, дурак, набитый барскою пышностью... <...>

В сентябре <1788 года> получен указ из Сената, последовавший по жалобе наместника, в коем многие глупые небылицы и скаредные клеветы на Державина написаны были: между прочим, что будто он его за ворот тащил в правление, что будто в присутствии его в правлении сделанные им распоряжения не исполнял, что накопил недоимки, и другие всякие нелепицы, но ни одного истинного и уважения достойного проступка <или> дела не сказал. Губернатору не трудно было на такой сумбур ответствовать и опровергнуть лжи прямым делом. Но как знал он канцелярский обряд, что не на справках основанные ответы подлежат сомнению и что начальничи донесения более возымеют весу, нежели его ответы, то, отлучив его от должности, предадут дело в Сенат <...> законному суждению, а Сенат несколько лет будет собирать справки, которые в угодность генерал-губернатору будут такие, какие ему только будут угодны; словом, ежели не обвинят, то вечно просудят, чего им только и хотелось, дабы не допустить Державина в столицу, или лучше до лицезрения императрицы; ибо таков есть закон: кто под

судом, тот не допускается ко двору. Державин, все сие предвидев, взял меры, дабы отвратить от себя столь злобно ухищренную напасть. Он, не объявля указа в правлении, призвал к себе секретарей и приказал им, якобы по другой какой надобности, справиться о всем, о чем требует с него Сенат ответа, каждому по своей экспедиции и за подписанием их и советников по их частям, взнести к нему в канцелярию. Они сие исполнили, и советники, не внав, что по поводу сенатского указа те справки требованы, подписали, а губернский прокурор пропустил, не сделав никакого возражения. Тогда губернатор объявил правлению сенатский указ и тот же час, основав на тех справках свой ответ, отправил в Сенат. Прокурор и советники, бывши преданы из трусости наместнику, увидели, что сплошали, не затруднив справок. Первый из них, послав нарочного к генерал-губернатору с известием, что губернатор требует справок против сенатского указа, получил с тем же посланным предписание, чтоб никак не давать справок; но было уже поздно. Гудович, будучи о сем извещен, послал в Сенат жалобу на Державина, говоря, что он под видом справок отдал якобы его под суд губернскому правлению. Ему больно было, что справками обнаружились его лжи и черной души

клевета. <...>

Сенат, получив вторую жалобу, хотя не мог почесть ее за основательную, но <...> определил, не дождавшись на указ от Державина ответа, поднести ее величеству доклад, в котором почел ему то в вину, что он долго якобы ответа не присылал, несмотря на то, что в законах определенного на ответы срока еще не прошло и что не токмо третичного, но и вторичного побудительного указа к нему послано не было. <...> Императрица, получив таковой явно пристрастный доклад, без ответа обвиняющий Державина, проникла на него гонение и для того, положив его пред собою, оставила без подтверждения. Между тем Державин в узаконенный срок прислал ответ; но его Сенату не докладывали, а читали тайно по кабинетам и, увидев гонимого во всем невинность, положили безгласным под красное сукно, вымышляя между тем способы и разные козий, чем бы обвинить Державина и подвигнуть на него гнев императрицы.

Прошло месяца с два, что дело оставалось без всякого движения, и все думали, что императрица взяла сторону Державина, и ему ничего не будет. Но в ноябре месяце настал срок к новому выбору судей. Наместник приехал, и дворяне съехались.

Губернатор, получая о том ежедневно рапорты, пришел к нему в день баллотирования и с должною учтивостию спрашивал его, что он ему по сему случаю прикажет. Он с презрением ему отвечал: "Ничего". – В обряде выборов и на него возложена должность. – "Мне вы ни на что не надобны". Губернатор, поклонясь, вышел вон и тот же час прислал к нему рапорт с прописанием, что он <был> у него и просил его повеления, но он его без всякой причины удалил от выборов: то ежели что случится в продолжение оных несогласное с законами, то чтобы уже он сам за то изволил ответствовать. Сия наместника, так сказать, письменная явка наиболее раздражила. Он послал к графу Безбородке убедительное партикулярное письмо, написав в нем личные оскорбления и всякие нестерпимые нелепости на губернатора, прося, чтобы он удален был из губернии, описывая, что он и при настоящем выборе дворян делает затруднение и замешательство. Граф Безбородко по тому письму докладывал, и тогда-то уже вышла конфирмация императрицы на вышеупомянутый сенатский доклад, в которой сказано, чтоб, удаля Державина из Тамбовской губернии, взять с него ответы, которые рассмотреть в Москве в 6-м Сената департаменте. Возрадовались все его гонители, и

вместо того, чтоб справедливый Сенат и истинный защитник невинности должен был сказать и войти с докладом, что ответы уже Державиным присланы, и как в них не находится никакой вины его, то предать ее величества благосоизволению; напротив, тотчас препроводили в Москву, опасаясь допустить оклеветанного в Петербург, чтоб как-либо присутствием своим в сем городе не открыл своей невинности, ибо письменных жалоб его не боялись, потому что они, преходя чрез руки статс-секретарей и почт-директора, приятелей и приверженцев их, не могли никак проникнуть до императрицы. Словом, Державин был в крайнем со всех сторон утеснении, ибо Вяземского и Безбородкина партия, то есть Сенат, генерал-прокурор, генерал-губернатор и статс-секретари, – все были против него. <...>

Таким образом должен он был, против желания всех благомыслящих, в исходе 1788 года оставить Тамбовскую губернию, в которой он много полезного сделал, как то:

1. Написал топографию губернии.
2. Учредил в губернском правлении порядок для сокращения производства, которого прежде не было...<...>
3. Подобно сему, сокращены и исполнены

были самым делом, а не на одной только бумаге, губернские публикации, которых, как известно, во всяком правлении от почты до почты вступает великое множество.<...>

4. Ведомости, получаемые из казенной палаты о получении доходов и о недоимках, а равно и из судебных мест о решенных и нерешенных делах, согласно законам и учреждению, приказал присылать только в два срока, а не несколько раз, как и когда кому вздумалось, и делал по ним градской и сельской полиции только два раза в год предписание, штрафуя неисправных без лицепрятия, чем и труд облегчался, и исполнение чинилось действительнее, как по запутанности дел частые, но слабые предписания.

5. По казенной части в сборе податей и свидетельств казны на основании законов такое сделал по зависящим от губернского правления местам распоряжение, что и поныне государственное казначейство при ревизовании счетов руководствуется оным.

6. Разобрал по точной силе законов вины преступников, содержащихся без всякого прежде различия в тюрьмах, сделав распоряжение, кого отпустить на расписки и поручительство, кого содержать строже, кого слабее, рассадя их всех по особым номерам, по мере их вин и преступлений,

и перестроя из старых строений, с пособием сумм приказа общественного призрения, благоучрежденный тюремный дом с кухнею, лазаретом, приказал в нем содержать возможную чистоту и порядок, чего прежде не было, а содержали в одной, так сказать, яме, огороженной палисадником, по несколько сот колодников, которые с голоду, с стужи и духоты помирали, без всякого о них попечения.

7. Учредил типографию, в которой печатались не токмо указы сенатские, но и прочие скорого исполнения требующие предписания губернского правления, а также и губернские ведомости о ценах хлеба, чем обуздывалось своеволие и злоупотребление провиантских комиссионеров, и о прочем, к сведению обывателей нужном.

8. Исследованы препятствия и затруднения судовому ходу по реке Цне, по коему суда назад от Рыбной не возвращались, и к облегчению плавания придуманы средства... <...>

9. Купил по препоручению императрицы для запасного петербургского хлебного магазина муки около 100000 кулей, который <хлеб> обошелся с поставкою дешевле провиантского ведомства 115 копейками, из чего видно, что он бы мог положить себе в карман без всякой опасности до 100 000 рублей.

10. Открыл убийство в Темникове княгини Девлеткильдеевой племянником ее Богдановым, которое совершилось, так сказать, с сведения городничего и прочих вемских чиновников. Исправил дороги, приумножил доходы приказа общественного призрения в год до 40 тысяч рублей.

Но несмотря на все сии попечения и заботы о благосостоянии вверенной губернии, Державин, по злобе сильных его недоброжелателей, отлучен из Тамбова и явился в Москве к суду 6-го Сената департамента, по вышесказанному доносу наместника, отправя жену свою к матери ее в Петербург.

Отделение VI

ПО ОТЛУЧЕНИИ ОТ ГУБЕРНАТОРСТВА ДО ОПРЕДЕЛЕНИЯ В СТАТС-СЕКРЕТАРИ, А ПОТОМ В СЕНАТОРЫ И В РАЗНЫЕ МИНИСТЕРСКИЕ ДОЛЖНОСТИ

Приехав в Москву, помнится, в рождественский пост <1788>, явился в Сенат; нашел дело еще не докладо-ванным.<...> Протекло уже 6 месяцев, Державин шатался по Москве праздно и видел, что такая проволочка единственно происходит из угождения князю Вяземскому, потому что, не находя его ни в чем винным, отдаляли оправдание, дабы не подпасть самим под гнев императрицы. Наконец, он нерешимостью наскучил и как въезд был в дом князя Волхонского и довольно ему знаком, водя с ним в бытность его в Петербурге хлеб и соль, то, приехав в один день к нему, просил с ним переговоры в его кабинете. Князь не мог от сего отговориться. Державин начал ему говорить: "Вы, слава богу, князь, сколько я вижу, здоровы, но в Сенат въезжать не изволите, хотя там мое дело уже с полгода единственно за неприсутствием вашим не докладывается. Я уверен в вашем добром сердце и в благорасположении ко мне; но

вы делаете сие мне притеснение из угождения только князю Александру Алексеичу, то я уверяю ваше сиятельство, что ежели будете длить и не решите мое дело так или сяк (я не требую моего оправдания, ибо уверен в моей невинности), то принужденным найдусь принести жалобу императрице, в которой изобразу все причины притеснения моего генерал-прокурором, как равно и состояние управляемого им государственного казначейства самовластно и в противность законов, как он раздает жалованье и пенсии кому хочет, без указов ее величества, как утаивает доходы, дабы в случае требования на нужные издержки показать выслугу пред государынею, нашедши якобы своим усердием и особым распоряжением деньги, которых в виду не было, или совсем оные небрежением других чиновников пропадали, и тому подобное; словом, все опишу подробности, ибо, быв советником государственных доходов, все крючки и норы знаю, где скрываются, и по переводам сумм в чужие края умышленно государственные ресурсы к пользе частных людей, прислуживающих его сиятельству. Коротко, хотя буду десять лет под следствием и в бедствии, но представляю не лживую картину худого его казною управления и злоупотребления сделанной ему высочайшей

доверенностью. То не введите меня в грех и не заставьте быть доносчиком противу моей воли: решите мое дело, как хотите, а там бог с вами, будьте благополучны".

Князь Волхонский почувствовал мои справедливые жалобы, обещал выехать в Сенат, что и действительно в первый понедельник исполнил, и дело мое, яко на справках основанное и ясно доказанное, в одно присутствие кончено. Хотя казенная палата и сам генерал-губернатор изобличены в небрежении их должности, а губернатор напротив того найден ни в чем не виноватым, но о них ничего не сказано, а о нем, что как де он за справки, требуемые им из губернского правления против генерал-губернатора, удален от должности, то и быть тому так. Сведав таковое кривое и темное решение, Державин, не имев его в руках формально, не мог против одного никакого делать возражения; ибо тогда не было еще того узаконения, чтоб по следственным делам объявлять подсудимым открыто решительные определения и давать им две недели сроку на написание возражения, буде дело решено несправедливо и незаконно. Державин не знал, что в сем утеснительном положении делать и как отвратить пред императрицею сие маловажное

само по себе, незаконное определение Сената. И так принужден был дать чрез одного стряпчего обер-секретарю 2000 рублей за то, чтоб только позволил копию списать с того решительного определения, дабы, прибегнув к императрице с просьбою, в чем против одного не ошибиться; и также обер-прокурора князя Гаврилу Петровича Гагарина упросил, чтоб ему объявлено было в Сенате, что дело его решено и до него более никакого дела нет, дабы он мог уже свободно ехать в Петербург. При сем случае, к чести должно сказать графа Петра Ивановича Панина, который<...> по пугачевскому саратовскому происшествию был к нему недоброжелателен и его гнал, но когда приехал в Москву и был у него, то он его принял благосклонно и оказал ему вспомоществование по сему делу, заступая у князя Гагарина, как и в сем случае, дабы объявлением в Сенате неимения до него никакого касательства учинить его отъезд в Петербург свободным. <...>

Приехав в Петербург <...>, послал он чрез почту к императрице письмо, в котором объяснил, что по жалобам на него генерал-губернатора, чрез Сенат присланным, он принес свои оправдания и надеется, что не найдется виноватым; но по неизвестным ему оклеветаниям, в которых от него никакого ответа требовано не было, он

сомневается в заключении Сената: может быть, не поставлено ли ему в вину, что он брал против доносов на него генерал-губурнатора из губернского правления справки, то он ссылается на законы, которые запрещают без справок дела производить, а потому и требовал оных, дабы бессомнительно объяснить истину. Почему и просил, чтоб приказала государыня, при докладе Сената, прочесть и сие его объяснение. Письмо дошло до императрицы. Скоро после того узнал он, что граф Безбородко объявил Сенату словесное ее величества повеление, чтоб считать дело решенным; а найден ли он винным или нет, того не сказано, и приказано ему тогда же явиться ко двору. Статс-секретарь Александр Васильевич Храповицкий объявил ему высочайшее благоволение, что она автора "Фелицы" обвинить не может, а гоф-маршалу, чтоб представлен он был ее величеству. Удостоясь соблаговолением лобызать руку монархини и отобедав с нею за одним столом в Царском Селе, возвращаясь в Петербург, размышлял он сам в себе, что он такое — виноват или не виноват? в службе или не в службе? А потому и решился еще писать к императрице и действительно то исполнил, изобразя в письме своем объявление Храповицким о невинности его и благодарение за правосудие,

прося (не из корыстолюбия, но чтоб в правительстве известно было его оправдание), по указу 1726 года, оставленного у него заслуженного жалованья и чтоб впредь до определения к должности производить; а также и просил у ее величества аудиенции для личного с нею объяснения по делам губернии.

Дня чрез два или три получил чрез г. Храповицкого повеление в наступающую среду быть в 9 часов в Царское Село для представления ее величеству. И действительно, в назначенный день и час явился. Храповицкий сказал мне, чтоб я шел в покои и приказал камердинеру доложить о себе государыне. Тотчас позван был в кабинет. Пришед в перламутровую залу, рассудил ва благо тут на столе оставить имеющуюся со мною большую переплетенную книгу, в которой находились подлинником все письма и предложения г. Гудовича <...>, представя себе, что весьма странно покажется императрице увидеть меня к себе вошедшего с такою большою книгою. Коль скоро я в кабинет вошел, то, пожаловав поцеловать руку, спросила, какую я имею до нее нужду. Державин отвечивал: благодарить за правосудие и объясниться по делам губернии. Она отозвалась: "За первое благодарить не за что, я исполнила мой долг; а о втором, для чего вы в

ответах ваших не говорили?" Державин донес, что противно было бы то законам, которые повелевают ответствовать только на то, о чем спрашивают, а о посторонних вещах изъяснять или доносить особо. — "Для чего же вы не объясняли?" — "Я просился для объяснения чрез генерал-прокурора, но получил от него отзыв, чтоб просился по команде, то есть чрез генерал-губернатора; но как я имею объяснить его непорядки и несоответственные поступки законам, в ущерб интересов вашего величества, то и не мог у него проситься". — "Хорошо, — изволила возразить императрица, — но не имеете ли вы чего в нраве вашем, что ни с кем не уживаетесь?" — "Я не внаю, государыня, — сказал смело Державин, — имею ли какую строптивость в нраве моем, но только то могу сказать, что, зная, я умею повиноваться законам, когда, будучи бедный дворянин и без всякого покровительства, дослужился до такого чина, что мне вверялися в управление губернии, в которых на меня ни от кого жалоб не было". — "Но для чего, — подхватила императрица, — не поладили вы с Тутолминым?" — "Для того, что он принуждал управлять губерниею по написанному им самопроизвольно начертанию, противному законам; а как я присягал исполнять только законы самодержавной власти, а не чьи

другие, то я не мог никого признать над собою императором, кроме вашего величества". – "Для чего же не ужился с Вяземским?" Державин не хотел рассказывать всего вышеписанного относительно несохранения и беспорядков в управлении казенном, дабы не показаться доносителем, но отвечал кратко: "Государыня! Вам известно, что я написал оду "Фелице". Его сиятельству она не понравилась. Он зачал насмехаться надо мною явно, ругать и гнать, придирая-ся ко всякой безделице; то я ничего другого не сделал, как просил о увольнении из службы и, по милости вашей, отставлен". – "Что ж за причина несогласия с Гудовичем?" – "Интерес вашего величества, о чем я беру дерзновение объяснить вашему величеству, и, ежели угодно, то сейчас представлю целую книгу, которую я оставил там". – "Нет, – она сказала, – после". Тут подал ей Державин краткую записку всем тем интересным делам, о коих месяцев 6 он представление сделал Сенату... <...>

Императрица, приняв ту записку, сказала, что она прикажет в Сенате привести те дела в движение. Между тем, пожаловав руку, дополнила, что она прикажет удовлетворить его жалованьем и даст место. На другой день в самом деле вышел указ, которым велено Державину

выдать заслуженное жалованье и впредь производить до определения к месту. Сие Вяземского как гром поразило, и он занемог параличом. Державин, однако, по старому знакомству, как бы ничего не примечая, ездил изредка в дом его и был довольно принят ласково. Сие продолжалось несколько месяцев и, хотя по воскресеньям приезжал он ко двору, но как не было у него никакого предстателя, который бы напомянул императрице об обещанном месте, то и стал он как бы забвенным.

В таком случае не оставалось ему ничего другого делать, как искать входу к любимцу государыни и чрез него искать себе покровительства. В то время, по отставке Мамонова, вступил на его место молодой конной гвардии офицер Платон Александрович Зубов, который никак с ним не был знаком; ибо когда он служил в гвардии, тогда еще сей дитя фортуны был малолетен и бегал с своим семейством туда и сюда, от Пугачева укрываясь. – Но что делать? надобно было сыскать случаю с ним познакомиться. Как трудно достигнуть до фаворита! Сколько ни заходил к нему в комнаты, всегда придворные лакеи, бывшие у него на дежурстве, отказывали, сказывая, что или почивает, или ушел прогуливаться, или у

императрицы. Таким образом, ходя несколько <раз>, не мог удостоиться ни одного раза застать его у себя. Не осталось другого средства, как прибегнуть к своему таланту. Вследствие чего написал он оду "Изображение Фелицы" и к 22-му числу сентября, то есть ко дню коронавания императрицы, передал чрез Эмина, который в Олонецкой губернии был при нем экзекутором и был как-то Зубову знаком. Государыня, прочетши оную, приказала любимцу своему на другой день пригласить автора к нему ужинать и всегда принимать его в свою беседу. Это было в 1788 году. С тех пор он сему царедворцу стал знаком, но, кроме ласкового обращения, никакой от него помощи себе не видал. Однако и один вход к фавориту делал уже в публике ему много уважения; а сверх того и императрица приказала приглашать его в эрмитаж и прочие домашние игры, как то на святки, когда они наступали, и прочие собрания. В доме Вяземского был также принят хорошо; но как брат фаворитов, то есть Дмитрий Александрович Зубов, сговорил на меньшей дочери Вяземского, и Державин приехал его поздравить, то княгиня, приняв холодно, показала ему спину. Сие значило то, что как они сделались чрез сговор дочери с любимцем императрицы в свойстве, то и не опасались уже,

чтоб Державин у него мог чем их повредить. Чрез сей низкий поступок княгини так ему дом их омерзел, что он в сердце своем положил никогда к ним не ездить, что и в самом деле исполнил по самую князя кончину.<...>

Княгиня Дашкова по старому знакомству чрез первую оду "Фелице", напечатанную в "Собеседнике", так же автора, как и прежде, благосклонно принимала и говорила императрице много о нем хорошего, твердя беспрестанно с похвалою о вновь сочиненной им оде "Изображение Фелицы", чем вперила ей мысли взять его к себе в статс-секретари или, лучше, для описания ее славного царствования. Сия княгиня Державину и многим своим знакомым, по склонности ее к велеречию и тщеславию, что она много может у императрицы, сама рассказывала. Таковое хвастовство не могло не дойти до двора и было, может, причиною, что Державин более двух годов еще после того не был принят в службу, а особливо на рекомендованный пост княгинею Дашковою...<...>

В ноябре или декабре месяце сего года взят Измаил. С известием сим фельдмаршал князь Потемкин прислал ко двору, чтоб более угодить императрице, брата любимцева, Валериана Александровича Зубова, что после был графом и

генерал-аншефом. В самое то время случился в комнатах фаворита и Державин. Он, в первом восторге о сей победе, дал слово радостному вестнику написать оду, которую и написал под названием "На взятие Измаила". Она напечатана в 1-й части его сочинений. Ода сия не токмо императрице, ее любимцу, но и всем понравилась; следствием сего было то, что он получил в подарок от государыни богатую осыпанную бриллиантами табакерку и был принимаем при дворе еще милостивее. Государыня, увидев его при дворе в первый раз по напечатании сего сочинения, подошла к нему и с усмешкою сказала: "Я не знала по сие время, что труба ваша столь же громка, как и лира приятна". Князь Потемкин, приехав из армии, стал к автору необыкновенно ласкаться...<...>

В течение сего времени случилась между князем Потемкиным и любимцем графом Зубовым неприятная для Державина история, в которую он нечаянным образом стал замешан. В одно время, при множестве предстоящих пред князем поклонников, бежал как бешеный, некто отставной провиантского стата майор Бехтеев и закричал громко: "Помилуйте, ваша светлость, обороните от Александра Николаевича Зубова, который, надеясь на своего сына, ограбил меня".

Князь, увидев столь азартного человека, произносящего дерзкую жалобу на человека, приближенного ко двору, и из осторожности, может быть, чтоб не произнес еще каких язвительных слов на столь знаменитого обидчика, или чтоб не подать поводу мыслить о не весьма хорошем его расположении к фавориту (ибо между ими не хорошо было), встал стремительно с места и, взяв Бехтеева за руку, увел к себе в кабинет. Там, с добрые полчаса быв наедине, что они говорили, неизвестно. Но только когда вышли, то, спустя несколько, стали предстоящие пошептывать, что старик Зубов отнял у Бехтеева наглým образом деревню; что несмотря на случай <сына>, отдадут грабителя под суд. В продолжение дня говорили о сем во всех знатных домах, как то у графов Безбородки, Воронцова, кн. Вяземского и прочих для того, что отец фаворитов своим надменным и мздоимочным поведением уже всем становился несносен. На другой же день поутру явился Бехтеев к Державину и стал усердно просить, чтоб он был с его стороны в совестном суде посредником, в который он подал на старика Зубова прошение. Державин, сколько мог, отговаривался от сей чести, извиняясь, что он не может идти против отца того, который оказывает ему свое

благорасположение. Но Бехтеев настоял в своем искании, ссылаясь на учреждение о губерниях, в котором именно воспрещено отказываться от посредничества в совестном суде. Державин не знал, что делать, выпросил сроку до завтра, поехал к молодому Зубову; рассказав ему все происшествие, бывшее у князя Потемкина, слухи городские и просьбу Бехтеева, желал от него узнать, что ему делать и как поступить в сем щекотливом обстоятельстве; ибо, с одной стороны, не позволяет ему закон отказываться от посредничества, а с другой, неприятно ему против родителя его противоборствовать, который никоим образом не может быть правым. Изъяснил ему существо дела. Оно состояло в следующем: "Бехтеев в Володимерском уезде, в соседстве с вашими деревнями, заложив в воспитательном доме 600 душ за 40 000 рублей, просрочил. Батюшка ваш, без всякого права и против законов воспитательного дома, по единственному своему могуществу, взкес без доверенности Бехтеева деньги и, выкупя чужое имение, предъявил закладную в гражданскую палату, которая, тож без всякого разбирательства и права, укрепя имение за вносчиком денег, сообщила наместническому правлению, а сие ввело его в действительное владение и Бехтеева с семейством

выгнало из дому, отняв все его в нем и движимое имение в пользу батюшки вашего". Молодой вельможа, выслушав все с смущением, несколько минут молчал, а потом сквозь зубов сказал: "Не можно ли без дальней огласки миролюбием кончить сию тяжбу?"

Державин Бехтееву предложил, и он согласился, только чтоб возвращена была ему деревня; но старый Зубов иначе на мир не шел, как чтоб ему же Бехтеев заплатил якобы убытков шестнадцать тысяч рублей; а как сие совсем было несправедливо и стыдно было требовать их с Бехтеева, то молодой обещал отдать свои, только чтоб отцу не сказывать. Но с сим вместе об этом замолчал; ибо, как слышно было, что старик его переуверил было в своей правости. Бехтеев наступил на Державина, как на посредника, чтоб кончить скорее дело, грозя императрице подать письмо, чего недоброжелатели Зубова только и ждали, чтоб подвергнуть его ответу. Державин стал убедительно говорить любимцу императрицы против отца его, что, может быть, было и не весьма приятно; однако же убедил молодой Зубов старого, и дело чрез записи кончено миролюбием. Сего никогда не мог простить жадный корыстолюбец Державину; но ничего не мог ему сделать, хотя бы и желал, как по покровительству

сына, так и Потемкина, который в сие время весьма был хорош к автору торжественных хоров для праздника на взятие Измаила, отправленного им в Таврическом его доме, который, по его кончине, переименован дворцом. Словом, Потемкин в сие время за Державиным, так сказать, волочился: желая от него похвальных себе стихов, спрашивал чрез г. Попова, чего он желает. Но, с другой стороны, молодой Зубов, фаворит императрицы, призвав его в один день к себе в кабинет, сказал ему от имени государыни, чтоб он писал для князя, что он прикажет; но отнюдь бы от него ничего не принимал и не просил, что он и без него все иметь будет, прибавя, что императрица назначила его быть при себе статс-секретарем по военной части. Надобно знать, что в сие время крылося какое-то тайное в сердце императрицы подозрение против сего фельдмаршала, по истинным <ли> политическим каким, замеченным от двора причинам, или по недоброжелательству Зубова, как носился слух тогда, что князь, поехав из армии, сказал своим приближенным, что он нездоров и едет в Петербург зубы дергать. Сие дошло до молодого вельможи и подкреплено было, сколько известно, разными внушениями истинного сокрушителя Измаила, приехавшего тогда из армии. Великий

Суворов, – но, как человек со слабостями, из честолюбия ли, или зависти, или из истинной ревности к благу отечества, но только приметно было, что шел тайно против неискусного своего фельдмаршала, которому, со всем своим искусством, должен был единственно по воле самодержавной власти повиноваться. Державин в таковых мудреных обстоятельствах не знал, что делать и на которую сторону искренно предаться, ибо от обеих был ласкаем.

В светлый праздник Христова воскресенья, как обыкновенно и ныне бывает, <был> съезд к вечерне, после которой императрица жаловала дам к руке в присутствии всего двора и имеющих к оному въезд кавалеров, в числе которых был и Державин. Вышед из церкви, повела она всех с собою в эрмитаж. Лишь только вошли в залу и сделали по обыкновению круг, то императрица с свойственным ей величественным видом прямо подошла к Державину и велела ему за собою идти. Он и все удивились, недоумевая, что сие значит. Пришед в отдаленные эрмитажа комнаты, остановилась в той, где стоят ныне бюсты Румянцева, Суворова, Чичагова и прочих; начала приказывать тихо, как бы какую тайну, чтоб он сочинил Чичагову надпись на случай мужественного его отражения в прошедшем году в

Ревеле сильнейшего в три раза против русского флота шведского, которая была бы сколько возможно кратка, и непременно помещены бы были в ней слова сего мореходца. Когда она ему сказала, что идет сильный флот шведский против нашего ревельского, посылая его оным командовать, то он ей отвечал равнодушно: бог милостив, не проглотят. Это ей понравилось. Приказав сделать его бюст, желала, чтоб на оном надпись именно из тех слов состояла. Державин, приняв повеление, не мог, однако, отгадать, к чему было такое ничего не значащее поручение и что при столь великом собрании отведен был таинственно с важностию в столь отдаленные чертоги, тем паче что на другой день, истоща все силы свои и в поэзии искусство, принес он сорок надписей и представил чрез любимца государыне, но ни одна из них ею не апробована; а написала она сама прозою, которую и ныне можно видеть на бюсте Чичагова. Опосле сие объяснилось и было не что иное, как поддразнивание или толчок Потемкину, что императрица, против его воли, хотела сделать своим докладчиком по военным делам Державина и для того его столь отличительно показала публике. Князь, узнав сие, не вышел в собрание и, по обыкновению его, сказавшись больным, перевязал себе голову

платком и лег в постелю.

Однако же, в исходе Фоминой недели, то есть 28-го апреля, дал известный великолепный праздник в Таврическом своем доме, где императрица с всею высочайшею фамилиею при великолепнейшем собрании присутствовала. Там были петы вышеупомянутые сочиненные Державиным хоры, которыми быв хозяин доволен, благодарил автора и пригласил его к себе обедать, который обещал сочинить ему описание того праздника. Без сомнения, князь ожидал себе в том описании великих похвал, или, лучше сказать, обыкновенной от стихотворцев сильным людям лести. Вследствие чего в мае или в начале июня, как жил князь в Летнем дворце, когда Державин поутру принес ему то описание, просил Василия Степановича доложить ему об оном, князь приказал его просить к себе в кабинет. Стихотворец вошел, подал тетрадь, а князь, весьма учтиво поблагодаря его, просил, остаться у себя обедать, приказав тогда же нарочно готовить стол. Державин пошел в канцелярию к Попову, – дожидаясь, не прикажет ли чего князь; где свободный имел случай и довольно время объяснить, что мало в том описании на лицо князя похвал; но скрыл прямую тому причину, бояся неудовольствия от двора, а сказал, что как от

князя никаких еще благодеяний личных не имел, а коротко великих его качеств не знает, то и опасался быть причтен в число подлых и низких ласкателей, каковым никто не дает истинного вероятия; а потому и рассудил отнесть все похвалы только к императрице и всему русскому народу, яко при его общественном торжестве, так, как и в оде на взятие Измаила; но ежели князь примет сие благосклонно и позволит впредь короче узнать его превосходные качества, то он обещал превознести его, сколько его дарования достанет. Но таковое извинение мало в пользу автора послужило: ибо князь когда прочел описание и увидел, что в нем отдана равная с ним честь Румянцеву и Орлову, его соперникам, то с фуриею выскочил из своей спальни, приказал подать коляску и, несмотря на шедшую бурю, гром и молнию, ускакал бог знает куда. Все пришли в смятение, столы разобрали – и обед исчез. Державин сказал о сем Зубову и не оставил, однако, в первое воскресенье, при переезде князя в Таврический его дом, засвидетельствовать ему своего почтения. Он принял его холодно, однако не сердито. Князю при дворе тогда очень было плохо. Злоязычники говорили, что будто он часто пьян напивается, а иногда как бы сходит с ума; заезжая к женщинам, почти с ним не знакомым,

говорит несвязно всякую нелепицу. Но Державин, несмотря на то, и к Зубову и к нему ездил. В сие время без его согласия князем Репниным с турками мир заключен. Это его больше убило. Перед отъездом в армию, когда он был уже на пути в Царском Селе, по приезде с ним откланялся. Спрашивал еще Попов Державина, чтоб он открылся, не желает ли он чего — князь все сделает; но он, хотя имел великую во всем тогда нужду, по обстоятельствам, которые ниже объяснятся, однако, слышав запрещение, чрез Зубова, императрицы ни о чем его не просить, сказал, что ему ничего не надобно. Князь, получив такой отзыв, позвал его к себе в спальню, посадил наедине с собою на софу и, уверив в своем к нему благорасположении, с ним простился.

Должно справедливость отдать князю Потемкину, что он имел весьма сердце доброе и был человек отлично великодушный. Шутки в оде "Фелице" на счет вельмож, а более на его вмещенные, которые императрица, заметя карандашом, разослала в печатных экземплярах по приличию к каждому, его нимало не тронули или, по крайней мере, не обнаружили его гневных душевных расположений, не так, как прочих господ, которые за то сочинителя возненавидели и злобно гнали; но напротив того, он оказал ему

доброхотство и желал, как кажется, всем сердцем благотворить, ежели б вышеописанные дворские обстоятельства не воспрепятствовали. Вопреки тому, по отъезде князя в армию, любимец императрицы граф Зубов, хотя беспрестанно ласкал автора и со дня на день манил и питал в нем надежду получить какое-либо место, но чрез все лето ничего не вышло, хотя нередко открывал он ему тесные свои обстоятельства, что почти жить было нечем... <...> Как бы то ни было, но только нося благоволение любимца императрицы, Державин шатался по площади, проживая в Петербурге без всякого дела.

Но вдруг неожиданно получает рескрипт императрицы, которым повелевалось ему приложенное на высочайшее имя прошение венецианского посланника графа Моцениго на государственного банкира Сутерланда рассмотреть и, собрав по оному нужные справки, доложить ее величеству. Претензия его в том состояла, что Сутерланд имел с ним торговые сношения и, получив от него товары из Италии, употреблял их не так, как должно, и причинил ему чрез то убытку до 120 000 рублей; о чем хотя и относился он в коммерц- и иностранную коллегии, но оные ему, как и все министерство, никакого удовлетворения не сделали: то и просил он, чтоб

ее величество, из особливого благоволения за его верную службу российскому двору, приказала сие дело рассмотреть действительному статскому советнику Державину и ее величеству доложить. Сколько опосле известно стало, то на сие настроила его, графа Моцениго, княгиня Дашкова из каких-то собственных своих корыстных расчетов, без которых она ничего и ни для кого не делала. В собрании справок из многих мест по сему делу и в рассмотрении оных прошло несколько месяцев или, лучше, целое лето. В течение сего времени, то есть в октябре месяце, получено известие из армии, что князь Потемкин, оканчивавший поставленный на море Князем Репниным с турками мир, скончался. Сие как громом всех поразило, а особливо императрицу, которая чрезвычайно о сем присноименном талантами и слабостями вельможе соболезновала, и не нашли способнее человека послать на конгресс в Яссы для заключения мира, как графа, а потом князем бывшего Александра Андреевича Безбородку, которому приказала кабинетские свои дела сдать молодому своему любимцу графу Зубову. Державин посещал всякий день его; в надежде быть употреблену в дела, наверное, ласкался иметь какое-нибудь из оных и по статской части, которых превеликое множество

недокладованных перешло от Безбородки к Зубову. Но ожидание было тщетно; дела валялись без рассмотрения, и ему фаворит не говорил ни слова, как будто никакого обещания ему от государыни объявлено не было.

Но в один день, как он к нему по обыкновению пришел, спрашивал как бы из любопытства молодой государственный человек: можно ли нерешенные дела из одной губернии по подозрениям переносить в другие? Державин, не зная причины вопроса, отвечал: "Нет, потому что в учреждении именно запрещено из одного губернского правления, или палаты, или какого-либо суда дела нерешенные переносить в другие губернии, да и нужды в том, по состоянию 1762 года апелляционного указа, никакой быть не может: ибо всякий недовольный имеет право переносить свое дело по апелляции из нижних судов в верхние, доводя их <т. е. его> до самого Сената; а потому всякое подозрение и незаконность решений уничтожатся сами по себе, если не в средних местах, то в сказанном верховном правительстве. Когда же еще апелляционного указа не было, то тяжущиеся по необходимой нужде от утеснения ли губернатора или судей, или по ябеде, дабы более запутать, переводили дела из воеводских, провинциальных

и губернских канцелярий в подобные им места других губерний". Спрашивающий, получив полный ответ, замолчал и завел другую речь. В первое после того воскресенье слышно стало по городу, что когда обер-прокурор Федор Михайлович Колокольцев, за болезнь Вяземского правя по старшинству генерал-прокурорскую должность, был по обыкновению в уборной для поднесения ее величеству прошедшей недели сенатских меморий, то она, вышед из спальни, прямо с гневом устремилась на него и, схватя его за Владимирский крест, спрашивала, как он смел коверкать ее учреждение. Он от ужаса помертвел и не знал, что ответить; наконец, сколько-нибудь собравшись с духом, промолвил: "Что такое, государыня! я не знаю". – "Как не знаешь? Я усмотрела из мемории, что переводятся у вас в Сенате во 2-м департаменте, где ты обер-прокурор, нерешенные дела из одной губернии в другую; а именно следственное дело помещика Ярославова переведено из Ярославской губернии в Нижегородскую; а в учреждении моем запрещено; то для чего это?" – "Таких, государыня, и много дел". – "Как, много? Вот вы как мои законы исполняете! Подай мне сейчас рапорт, какие именно дела переведены?" С

трепетом бедный обер-прокурор, едва жив, из покоя вышел. Вследствие сего окрика того же дня ввечеру наперсник государыни, призвав Державина к себе, объявил ему, что императрица определяет его к себе для принятия прошений и, делая своим статс-секретарем, поручает ему наблюдение за сенатскими мемориями, чтоб он по них докладывал ей, когда усмотрит какое незаконное Сената решение. На другой день, то есть 12-го декабря 1791 года, и действительно состоялся указ. Но пред тем еще задолго имел он позволение доложить государыне по вышеупомянутому делу графа Моцениго, и действительно несколько раз докладывал; но как со стороны Сутерланда было все министерство, потому что все были ему должны деньгами <...>, то императрица и отсылала раз шесть с нерешимостью докладчика, говоря, что он еще в делах нов. Вместо того, хотя видела правоту Моцениго, но не хотела огорчить всех ближних ее вельмож. <...>

По разнесшемся слуху об определении Державина в сию должность, как сбежалось к нему множество канцелярских служителей, просящихся в его канцелярию, то он, дабы испытать их способности, принесенные к нему дела сенатскими секретарями раздал появившимся

к "ему кандидатам, каждому по одному делу, с таковым приказанием, чтоб они сделали соображение, подчеркнув строки несправедливых решений, а на поле показали те законы, против которых учинена где погрешность, и доставили бы ему непременно завтра поутру. Желание определиться и ревность показать свою, способность и знание столько в них подействовали, что они до свету на другой день к нему явились, всякий с своим соображением. Державин до 9-и часов успел их пересмотреть, сверить с документами, а они всякий свое набело переписали: то в положенный час и явился он ко двору. Государыня, выслушав, приказала написать указ в Сенат с выговором о несоблюдении законов, кои в соображениях были примечены. Но Державин, опасаясь, чтоб, критикуя Сенат, не попасть при первом случае самому в дураки, просил государыню, чтоб она, по новости и по неискусству его в законах, уволила его от столь скорого исполнения ее воли; а ежели угодно ей будет, то приказала бы прежде Совету рассмотреть его соображения, правильно ли он и по точной ли силе законов сделал свои заключения. Императрица изволила одобрить сие мнение и велела все бумаги и соображения отнести в Совет. Совет, по рассмотрении тех

соображений, обратил к ее величеству оные с таковым своим мнением, что они с законами согласны; тогда она приказала заготовить проект вышеозначенного указа и поднести ей на апробацию. Державин не замедлил исполнить высочайшую волю. Сие было уже в начале 1792 года.

В проекте указа написан был строгий Сенату выговор за неисполнение законов, с изображением точных слов, на таковые случаи находящихся в указах Петра Великого... <...> Императрица, выслушав проект, была им довольна; но, подумав, сказала: "Ежели вмешали уже Совет в сие дело, то отнеси в оный и сию бумагу. Посмотрим, что он скажет?" Повеление исполнено. Совет заключил, что милосердые ее величества законы никого не дозволяют обвинять без ответов: не угодно ли будет приказать с производителей дел взять оные? — Монархиня на сие положение Совета согласилась. Державин должен был написать другой указ, которым требовалось против соображения ответов с генерал-прокурора князя Вяземского, с обер-прокурора Колокольцева, обер-секретарей Цызырева и Ананьевского. Ответы поданы: генерал-прокурор извинялся болезнью; обер-прокурор признавал свою вину, плакал и ублажал самым низким и трогательным

образом милосердную монархиню и мать отечества, прося о прощении; обер-секретариг Цызырев так и сяк канцелярскими оборотами оправдывался, а Ананьевский, поелику у него было дело тяжebное и никакой важности в себе не заключавшее, говорил довольно свободно. Императрица, выслушав сии ответы, а особливо Колокольцева, сказала, что он "как баба плачет, мне его слезы не нужны". Подумав, домолвила: "Что мне с ними делать?" А наконец, взглянув на докладчика, спросила: "Что ты молчишь?" Он отвечал: "Государыня! Законы ваши говорят за себя сами, а милосердию вашему предела я предположить не могу". – "Хорошо ж, отнеси еще в Совет и сии ответы; пусть он мне скажет на них свое мнение". Совет отозвался, что благости и милосердия ее он устранять не может: что угодно ей, с виновными, то пусть прикажет сделать. Тогда она приказала начисто переписать указ и принести ей для подписания. Приняв же оный, положила пред собою в кабинете на столе, который и поныне остался в молчании... <...>

Подобно тому и внимание государыни на примечания, деланные Державиным по мемориям Сената, по которым он каждую неделю ей докладывал, час от часу ослабевало. Приказала не утруждать ее, а говорить прежде с

обер-прокурорами; вследствие чего всякую субботу после обеда должны были они являться к Державину, как бы на лекцию, и выслушивать его на резолюции Сената замечания. Не исключался из сего и самый фаворитов отец, первого департамента обер-прокурор Зубов. Но и сие продолжалось несколько только месяцев; стали сенаторы и обер-прокуроры роптать, что они под мундштуком Державина. Государыня сама почувствовала, что она связала руки у высшего своего правительства, ибо резолюции Сената, в мемории вносимые, не есть еще действительные его решения или приговоры, ибо их несколько раз законы переменять дозволяли; а потому и сие императрица отменила, а приказала только про себя Державину замечать ошибки Сената, на случай, ежели к ней поднесется от него какой решительный доклад с важными погрешностями, или она особо прикажет подать ей замечания: тогда ей по ним докладывать. Таким образом сила Державина по сенатским делам, которой, может быть, ни один из статс-секретарей по сей установленной форме от императрицы ни прежде ни после не имел (ибо в ней соединялась власть генерал-прокурора и докладчика), тотчас умалилась... <...>

Сначала императрица часто допускала

Державина к себе с докладом и разговаривала о политических происшествиях, каковым хотел было он вести подневную записку; но поелику дела у него были все роду неприятного, то есть прошения на неправоудие, награды за заслуги и милости по бедности; а блистательные политические, то есть о военных приобретениях, о постройке новых городов, о выгодах торговли и прочем, что ее увеселяли более дела у других статс-секретарей, то и стала его редко призывать, так что иногда он недели пред ней не был и потому журнал свой писать оставил; словом, приметно было, что душа ее более занята была военною славою и замыслами политическими, так что иногда не понимала она, что читано было ей в записках дел гражданских; но как имела необыкновенную остроту разума и великий навык, то тотчас спохватывалась и давала резолюции (по крайней мере иногда) не столь основательные, однако же сносные, как то: с кем-либо снестись, переписаться и тому подобные. Вырывались также иногда у нее внезапно речи, глубину души ее обнаруживавшие. Например: "Ежели б я прожила 200 лет, то бы, конечно, вся Европа подвержена б была Российскому скипетру". Или: "Я не умру без того, пока не выгоню турков из Европы, не усмирю гордость Китая и с Индией не

осную торговлю". Или: "Кто дал, как не я, почувствовать французам право человека? Я теперь вяжу узелки, пусть их развяжут". Случалось, что заводи́ла речь и о стихах докладчика, и неоднократно, так сказать, прашивала его, чтоб он писал вроде оды "Фелице". Он ей обещал и несколько раз принимался, запираясь по неделе дома; но ничего написать не мог, не будучи возбужден каким-либо патриотическим славным подвигом...! <...>

Тогда же поручено Державину в рассмотрение славное дело генерал-поручика и сибирского генерал-губернатора Якобия в намерении его возмутить Китай против России. <...> Сей занимался оным целый год... <...> Доложил государыне, что дело готово. Она приказала доложить и весьма удивилась, когда целая шеренга гайдуков и лакеев внесли ей в кабинет превеликие кипы бумаг. "Что такое? – спросила она, – зачем сюда такую бездну?" – "По крайней мере, для народа, государыня", – отвечал Державин. "Ну, положите, коли так", – отозвалась с некоторым родом неудовольствия. Заняли несколько столов. "Читай". – "Что прикажете: экстракт сенатский, или мой, или которую из докладных записок?" – "Читай самую кратчайшую". Тогда прочтена ей которая на двух

листах. Выслушав и увидя, что Якобий оправдывается, проговорила, как бы изъясняя сомнение на неверность записки: "Я не такие пространные дела подлинником читала и выслушивала; то прочитай мне весь экстракт сенатский. Начинай завтра. Я назначаю тебе всякий день для того после обеда два часа, 5-й и 6-й". <...>

...продолжим течение происшествий по порядку касательно только до Державина. Он во время доклада сего дела сблизился было весьма с императрицею по случаю иногда рассуждений о разных вещах; например, когда получен трактат 1793 года с Польшею, то она с восторгом сказала: "Поздравь меня с столь выгодным для России постановлением". Державин, поклонившись, сказал: "Счастливы вы, государыня, что не было в Польше таких твердых вельмож, каков был Филарет; они бы умерли, а такого постыдного мира не подписали". Ей это понравилось. Она улыбнулась и с тех пор приметным образом стала отличать его, так что в публичных собраниях, в саду, иногда сажая его подле себя на канapé, шептала на ухо ничего не значащие слова, показывая будто говорит о каких важных делах. <...>

Он таким императрицы уважением, которое

обращало на него глаза завистливых придворных, пользовался недолго. 15-го июля, читав дело Якобия, по наступлению 7-го часа, в который обыкновенно государыня хаживала с придворными в Царском Селе в саду прогуливаться, вышел из кабинета в свою комнату, дабы отправить некоторые ее повеления по прочим делам, по коим он докладывал, и, окончив оные, пошел в сад, дабы иметь участие в прогулке. Статс-секретарь Петр Иванович Турчанинов, встретя его, говорил: "Государыня нечто скучна, и придворные как-то никаких не заводят игр; пожалуй, братец, пойдем и заведем хотя горелки". Державин послушался. Довелось ему с своею парой ловить двух великих князей, Александра и Константина Павловичей; он погнался за Александром и, догоняя его на скользком лугу, покатою к пруду, упал и так сильно ударился о землю, что сделался бледен как мертвец. Он вывихнул в плече из сустава левую руку. Великие князья и прочие придворные подбежали к нему и, подняв едва живого, отвели его в его комнату. Хотя вправили руку, но он не мог одеться и должен был оставаться дома обыкновенных 6 недель, пока несколько рука в суставе своем не затвердела. В сие-то время недоброжелатели умели так расположить против

его императрицу, что он по выздоровлении, когда явился к ней, то нашел ее уже совсем переменившеюся. При продолжении Якобиева дела вспыхивала, возражала на его примечания и в один раз с гневом спросила, кто ему приказал и как он смел с соображением прочих подобных решенных дел Сенатом выводить невинность Якобия. Он твердо ей отвечивал: "Справедливость и ваша слава, государыня, чтоб не погрешили чем в правосудии". Она покраснелась и выслала его вон, как и нередко то в продолжении сего дела случалось. В один день, когда она приказала ему после обеда быть к себе (это было в октябре месяце), случился чрезвычайный холод, буря, снег и дождь, и когда он, приехав в назначенный час, велел ей доложить, она чрез камердинера Тюльпина сказала: "Удивляюсь, как такая стужа вам гортани не захватит", – и приказала ехать домой.

По окончании Якобиева дела, которым государыня сначала была недовольна и, как выше видно, всячески от решения его уклонялась, дабы стыдно ей не было, что она столь неосторожно строгое завела исследование по пустякам, как сама о том в указе своем сказала; но когда чрез обер-полицмейстера Глазова услышала молву народную, что ее до небес превозносили за

оказанное ею правосудие и милосердие при решении сего дела, то была очень довольна и, призвав Державина к себе, который уже был сенатором, изъявила ему за труд его свое удовольствие. Он при сем случае спросил, прикажет ли она ему оканчивать помянутое Сутерландово дело, которое уже давно <производится>, а также и прочие, или сдать их, не докладывая, преемнику его Трощинскому. Она спросила: "Да где Сутерландово дело?" – "Здесь". – "Взнеси его сюда и положи вот тут на столик, а после обеда, в известный час, приезжай и доложи". Она была тогда в своем кабинете, где, по обыкновению, сидя за большим письменным своим столом, занималась сочинением российской истории. Державин, взяв из секретарской в салфетке завязанное Сутерландово дело, внес в кабинет и положил пред ее лицом на тот самый столик, на который она его положить приказала, откланялся и спокойно приехал домой. После он узнал, как ему сказывал Храповицкий, что час спустя по выходе его, кончив свою работу, подошла она к сему столику и, развязав салфетку, увидела в ней кипу бумаг: вспыхнула, велела кликнуть Храповицкого и с чрезвычайным гневом спрашивала Храповицкого, что это за бумаги? Он не знает, а видел, что их Державин принес.

"Державин! – вскрикнула она грозно, – так он меня еще хочет столько же мучить, как и Якобиевым делом. Нет! Я покажу ему, что он меня за нос не поведет. Пусть его придет сюда". Словом, много говорила гневного, а по какой причине, никому неизвестно; догадывались, однако, тонкие царедворцы: помечталось ей, что будто Державин, несмотря на то, что пожалован в сенаторы, хотел, под видом окончания всех бывших у него нерешенных дел, при ней против воли ее удерживаться, отправляя вместе сенаторскую и статс-секретарскую должность, что было против ее правил. Итак, Державин, не зная ничего о всем вышепроисходящем, в назначенный час приходит в секретарскую, находит тут камердинеров, странными лицами на него смотрящих, приказывает доложить; велят ждать. Наконец выходит от государыни граф Алексей Иванович Мусин-Пушкин, который тогда был в Синоде обер-прокурором, который обошелся с ним также весьма сухо. Призывают к государыне из другой комнаты Василия Степановича Попова, который там ожидал ее повеления. Лишь только он входит, велят ему садиться по-старому на стул и зовут в ту же минуту Державина; чего никогда ни с кем не бывало, чтоб при свидетельстве третьего, не участвующего в том деле, кто-либо

докладывал. Державин входит, видит государыню в чрезвычайном гневе, так что лицо пылает огнем, скулы трясутся. Тихим, но грозным голосом говорит: "Докладывай". Державин спрашивает – по краткой или пространной записке докладывать? "По краткой", – отвечала. Он зачал читать, а она, почти не внимая, беспрестанно поглядывала на Попова. Державин, не зная ничему этому никакой причины, равнодушно кончил и, встав со стула, спросил что приказать изволит? Она снисходительнее прежнего сказала: "Я ничего не поняла; приходи завтра и прочти мне пространную записку". Таким образом сие странное присутствие кончилось. После господин Попов сказывал, что она, призвав его скоро после обеда, жаловалась ему, что будто Державин не токмо грубит ей, но и бранится при докладах, то призвала его быть свидетелем. Но как никогда этого не было и быть не могло, то – клевета ли какая взведенная, или что другое, чем приведена она была на него в раздражение, – кончилось ничем.

На другой день, вследствие приказания ее, с тем же делом в обыкновенный час приехал, принят был милостиво и даже извинилась, что вчера горячо поступила, примолвя, что "ты и сам горяч, все споришь со мною". – "О чем мне,

государыня, спорить? я только читаю, что в деле есть, и я не виноват, что такие неприятные дела вам должен докладывать". – "Ну, полно, не сердись, прости меня. Читай, что ты принес". Тогда зачал читать пространную записку и реестр, кем сколько казенных денег из кассы у Сутерланда забрано. Первый явился князь Потемкин, который взял 800 000 рублей. Извинив, что он многие надобности имел по службе и нередко издерживал свои деньги, приказала принять на счет свой государственному казначейству. Иные приказала взыскать, другие небольшие простить долги; но когда дошло до великого князя Павла Петровича, то, переменяя тон, зачала жаловаться, что он мотает, строит такие беспрестанно строения, в которых нужды нет: "Не знаю, что с ним делать", – и такие продолжая с неудовольствием (подобные) речи, ждала как бы на них согласия; но Державин, не умея играть роли хитрого царедворца, потупя глаза, не говорил ни слова. Она, видя то, спросила: "Что ты молчишь?" Тогда он ей тихо проговорил, что наследника с императрицею судить не может, и закрыл бумагу. С сим словом она вспыхнула, покраснелась и закричала: "Поди вон!" Он вышел в крайнем смущении, не зная, что делать. <...> Надобно приметить, что подобные

неприятные дела может быть и с умыслу, как старший между статс-секретарями, граф Безбородко всегда сообщал Державину под видом, что он прочих справедливее, дельнее и прилежнее, а самой вещью, как он им всем ревностию и правдою своею был неприятен или, лучше сказать, опасен, то, чтоб он наскучил императрице и остудился в ее мыслях; что совершенно и сделалось, а особливо, когда граф Николай Иванович Салтыков, с своей стороны, хитрыми своими ужимками и внушениями, как граф Дмитрий Александрович по дружбе сказывал Державину, сделал о нем какие-то неприятные впечатления императрице, также, с другой стороны, и прежде бывшая его большая приятельница княгиня Дашкова. Первый – за то, что по вступившему на имя императрицы одного донского чиновника доносу приказал он взять из военной коллегии справки, в которой был Салтыков президентом, о чрезвычайных злоупотреблениях той коллегии, что за деньги производились неслужащие малолетки и разночинцы в обер-офицеры и тем отнимали линию у достойных заслуженных унтер-офицеров и казаков. Вторая – что по просьбе на высочайшее имя бывшего при Академии Наук известного механика Кулибина, докладывал он государыне,

не спросяся с нею, поелику она была той Академии директором и того Кулибина за какую-то неисполненную ей услугу не жаловала и даже гнала, и выпросил ему к получаемому им жалованью 300 рублей, в сравнение с профессорами, еще 1500 рублей и казенную квартиру, а также по ходатайству ее за некоторых людей, не испросил им за какие-то поднесенные ими художественные безделки подарков и наградений: хотя это и не относилось прямо до его обязанности, но должно было испрашивать чрез любимца; она так рассердилась, что приехавшему ему в праздничный день с визитом вместе с женою наговорила, по вспыльчивому ее или, лучше, сумасшедшему нраву, премножество грубостей, даже на счет императрицы, что она подписывает такие указы, которых сама не знает, и тому подобное, так что он не вытерпел, уехал и с тех пор с нею незнаком; а она, как боялась, чтоб он не довел до сведения государыни говоренного ею на ее счет, то забежав, сколько известно было, чрез Марью Саввишну Перекусихину, приближеннейшую к государыне даму, и брата фаворитова графа Валериана Александровича, наболтала какие-то вздоры, которым хотя в полной мере и не поверили, но поселила в сердце остуду, которая примечена была Державиным по

самую ее кончину. Может быть и за то, что он по желанию ее, видя дворские хитрости и беспрестанные себе толчки, не собрался с духом и не мог таких ей тонких писать похвал, каковы в оде "Фелице" и тому подобных сочинениях, которые им писаны не в бытность его еще при дворе: ибо издалека те предметы, которые ему казались божественными и приводили дух его в воспламенение, явились ему, при приближении к двору, весьма человеческими и даже низкими и недостойными великой Екатерины, то и охладел так его дух, что он почти ничего не мог написать горячим чистым сердцем в похвалу ее. Например, я скажу, что она управляла государством и самым правосудием более по политике или своим видам, нежели по святой правде. <...>

Вот, как выше сказано, она царствовала политически, наблюдая свои выгоды или поблажая своим вельможам, дабы по маловажным проступкам или пристрастиям не раздражить их и против себя не поставить. Напротив того, кажется, была она милосерда и снисходительна к слабостям людским, избавляя их от пороков и угнетения сильных не всегда строгостью законов, но особым материнским о них попечением, а особливо умела выигрывать сердца и ими управлять, как хотела. Часто случалось, что рассердится и выгонит от

себя Державина, а он надуется, даст себе слово быть осторожным и ничего с ней не говорить, но на другой день, когда он войдет, то она тотчас приметит, что он сердит: начнет спрашивать о жене, о домашнем его быту, не хочет ли он пить, и тому подобное ласковое и милостивое, так что он позабудет всю свою досаду и сделается по-прежнему чистосердечным. В один раз случилось, что он, не вытерпев, вскочил со стула и в исступлении сказал: "Боже мой! кто может устоять против этой женщины? Государыня, вы не человек. Я сегодня наложил на себя клятву, чтоб после вчерашнего ничего с вами не говорить; но вы против воли моей делаете из меня, что хотите". Она засмеялась и сказала: "Неужто это правда?" Умела также притворяться и обладать собою в совершенстве, а равно и снисходить слабостям людским и защищать бессильных от сильных людей. <...>

Подобными делами хотя угождал Державин императрице, но правдою своею часто наскучивал, и как она говаривала пословицу: живи и жить давай другим, и так поступала, что он на рождение царицы Гремиславы Л. А. Нарышкину в оде сказал:

Но только не на счет другого; Всегда доволен будь своим, Не трогай ничего чужого.

А когда происходил Польши раздел и выбита такая была медаль, на которой на одной стороне представлена колючая с шипами роза, а на другой портрет ее, то потому ли, или по недоброжелательным наговорам беспрестанным и что правда наскучила, 8-го сентября, в день торжества мира с турками, хотя Державин провозглашал с трона публично награждения отличившимся в сию войну чиновникам несколькими тысячами душами; но ему за все труды при разобрании помянутых важных и интересных дел ниже одной души и ни полушки денег в награждение не дано, а пожалован он в сенаторы в межевой департамент, и между прочими, тучею так сказать брошенный на достойных и недостойных, надет и на него крест св. Владимира 2-й степени.

В 1794 году января 1-го дня к сенаторскому достоинству дано ему место президентское коммерц-коллегии, пост для многих завидный и, кто хотел, нажиточный; но он по ревности своей или, в другом смысле сказать, по глупому честолюбию, думая, что императрица возвела его для его верности и некорыстолюбия, хотел отправлять свое служение по видам польз государственных и законов; но, как ниже усмотрится, вышло совсем тому противное. <...>

Само по себе видно, что нечего ему было тут ждать: но он должен был исполнить волю императрицы, которая, сколько догадываться позволено, думала, поверя ему сей наживной пост, наградить его за труды и службу, по должности статс-секретаря понесенные; но Державину сего и в голову не входило, ибо он, напротив того, предполагал сию новую доверенность наилучшим образом заслужить возможною верностию, бескорыстием и честностию, как выше о том сказано.

Словом, вступив в президенты коммерц-коллегии, начал он собирать сведения и законы, к исправному отправлению должности его относящиеся. Вследствие чего хотел осмотреть складочные на бирже анбары льняные, пеньковые и прочие, а по осмотре вещей, петербургский и кронштадтский порты; но ему то воспрещено было, и таможенные директоры и прочие чиновники явное стали делать неуважение и непослушание; а когда прибыл в С.-Петербург из Неаполя корабль, на коем от вышеупомянутого графа Моцениго прислан был в гостинцы кусок атласу жене Державина, то директор Даев, донеся ему о том, спрашивал, показывать ли тот атлас в коносаментax и как с ним поступить; ибо таковые ценовные товары ввозом в то время запрещены

были, хотя корабль отплыл из Италии прежде того запрещения и об оном знать не мог. Но со всем тем Державин не велел тот атлас от сведения таможни утаивать, а приказал с ним поступить по тому указу, коим запрещение сделано, то есть отослать его обратно к Моцениго. Директор, видя, что президент не поддался на соблазн, чем бы заслепил он себе глаза и дал таможенным служителям волю плутовать, как и при прежних начальниках, то и вымыслили Алексеев с тем директором клевету на Державина, которой бы замарать его в глазах императрицы, дабы он доверенности никакой у ней не имел. Донесли государыне, что будто он после запретительного указа выписал тот атлас сам и приказал его ввезти тайно; а как таковые тайно привезенные товары велено тем было указом жечь, и с тех, кто их выписал, брать штраф, то и получили согласную с тем от государыни резолюцию. Державин не знал ничего, как вдруг сказывают ему, что публично с барабанным боем пред коммерц-коллегиею на площади под именем его сожжены тайно выписанные им товары, и тогда получает директор, так сказать, ордер от Алексеева, в коем требует он, чтоб Державин внес в таможню положенный законом штраф. Такая дерзость бездельническая его как громом поразила; он

написал на явных справках и доказательствах основанную записку, в которой изобличалась явно гнусная ложь Алексеева и Даева, и как не допущен был к императрице, то чрез Зубова подал ту записку и просил по ней его ей доложить; но сколько ни хлопотал, не мог получить не токмо никакой дельной ее величества резолюции, но и никакого даже от самого Зубова отзыва.

Потом, вскоре после того, призван он был именем государыни в дом генерал-прокурора (Самойлова), который объявил ему, что ее величеству угодно, дабы он не занимался и не отправлял должности коммерц-коллегии президента, а считался бы оным так, ни во что не мешаясь. Державин требовал письменного о том указа; но ему в том отказано. Видя таковое угнетение от той самой власти, которая бы в правоте его сама поддерживать долженствовала, не знал, что делать; а наконец, посоветав с женою и с другими, решился подать императрице письмо о увольнении его от службы. Приехав в Царское Село, где в то время императрица проживала, адресовался с тем письмом к Зубову; он велел подать чрез статс-секретарей. Просил Безбородку, Турчанинова, Попова, Храповицкого и Трощинского; но никто одного не принял, говоря, что не смеют. Итак, убедил просьбою

камердинера Ивана Михайлова Тюльпина, который был самый честнейший человек и ему благоприятен. Он принял и отнес императрице. Чрез час время, в который Державин, походя по саду, пошел в комнату Зубова навеститься, какой успех письмо его имело, находит его бледного, смущенного, и сколько он его ни вопрошал, ничего не говорящего; наконец за тайну Тюльпин открыл ему, что императрица по прочтении письма чрезвычайно разгневалась, так что вышла из себя, и ей было сделалось очень дурно. Поскакали в Петербург за каплями, за лучшими докторами, хотя и были тут дежурные. Державин, услыша сие, не остался долее в Царском Селе, но, не дождавшись резолюции, уехал потихоньку в Петербург и ждал спокойно своей судьбы; но ничего не вышло, так что он принужден был опять в недоумении своего президентства по-прежнему шататься. <...>

Июля 15-го числа 1794 года скончалась у него первая жена. Не могши быть спокойным о домашних недостатках и по службе неприятностях, чтоб от скуки не уклониться в какой разврат, женился он января 31-го дня 1795 года на другой жене, девице Дарье Алексеевне Дьяковой. Он избрал ее так же, как и первую, не по богатству и не по каким-либо светским

расчетам, но по уважению ее разума и добродетелей, которые узнал гораздо прежде, чем на ней женился, от обращения с сестрою ее Марьею Алексеевною и всем семейством отца ее, бригадира Алексея Афанасьевича Дьякова, и зятьев ее, Николая Александровича Львова, графа Якова Федоровича Стейнбока и Василья Васильевича Капниста, как выше видно, приятелей его. Причиною наиболее было сего союза следующее домашнее приключение. В одно время, сидя в приятельской беседе, первая супруга Державина и вторая, тогда бывшая девица Дьякова, разговорились между собою о счастливом супружестве. Державина сказала: ежели б она, г-жа Дьякова, вышла за г. Дмитриева, который всякий день почти в доме Державина и коротко был знаком, то бы она не была несчастна. "Нет, – отвечала девица, – найдите мне такого жениха, каков ваш Гаврил Романович, то я пойду за него, и надеюсь, что буду с ним счастлива". Посмеялись, и начали другой разговор. Державин, ходя близ их, слышал отзыв о нем девицы, который так в уме его напечатлелся, что, когда он овдовел и примыслил искать себе другую супругу, она всегда воображению его встречалась. Когда же прошло почти 6 месяцев после покойной и девица Дьякова

с сестрою своею графинею Стейнбоковою из Ревеля приехала в Петербург, то он, по обыкновению, как знакомым дамам, сделал посещение. Они его весьма ласково приняли; он их звал, когда им вздумается, к себе отобедать. Но поселившаяся в сердце искра любви стала разгораться, и он не мог далее отлагать, чтоб не начать самым делом предпринятого им намерения, хотя многие богатые и знатные невесты – вдовы и девицы – оказывали желание с ним сблизиться; но он позабыл всех, и вследствие того на другой день как у них был, послал записочку, в которой просил их к себе откушать и дать приказание повару, какие блюда они прикажут для себя изготовить. Сим он думал дать разуместь, что делает хозяйкою одну из званых им прекрасных гостей, разумеется, девицу, к которой записка была надписана. Она с улыбкою ответствовала, что обедать они с сестрою будут, а какое кушанье приказать приготовить, в его состоит воле. Итак, они у него обедали; но о любви или, проще сказать, о сватовстве никакой речи не было. – На другой или на третий день поутру, зайдя посетить их и нашед случай с одной невестой говорить, открылся ей в своем намерении, и как не было между ними никакой пылкой страсти, ибо жениху было более 50-ти, а

невесте около 30-ти лет, то и соединение их долженствовало основываться более на дружестве и благопристойной жизни нежели на нежном страстном сопряжении. Вследствие чего отвечала она, что она принимает за честь себе его намерение, но подумает, можно ли решиться в рассуждении прожитка; а он объявил ей свое состояние, обещав прислать приходные и расходные свои книги, из коих бы усмотрела, может ли она содержать дом сообразно с чином и летами. Книги у ней пробыли недели две, и она ничего не говорила. Наконец сказала, что она согласна вступить с ним в супружество. Таким образом совокупил свою судьбу с сей добродетельной и умной девицею, хотя не пламенною романическою любовью, но благоразумием, уважением друг друга и крепким союзом дружбы. Она своим хозяйством и прилежным смотрением за домом не токмо доходы нашла достаточными для их прожитка, но, поправив расстроенное состояние, присовокупила в течение 17 лет недвижимого имения, считая с великолепными пристройками домов, едва ли не половину, так что в 1812 году, когда сии "Записки" писаны, было за ними вообще в разных губерниях уже около 2000 душ и два в Петербурге каменные знатные дома.

В течение 1795 года он пытался еще лично проситься у государыни, хотя не в отставку, но в отпуск на год, для поправления своей экономии. Государыня ответствовала, что она прикажет записать о том указ в Сенате генерал-прокурору...<...>

В продолжение 1795 и 1796 года случились с Державиным еще примечательные события.<...>

По желанию императрицы, как выше сказано, чтоб Державин продолжал писать в честь ее более в роде "Фелицы", хотя дал он ей в том свое слово, но не мог оно сдержать по причине разных придворных каверз, коими его беспрестанно раздражали: не мог он воспламенить так своего духа, чтоб поддерживать свой высокий прежний идеал, когда вблизи увидел подлинник человеческий с великими слабостями. Сколько раз он ни принимался, сидя по неделе для того запершись в своем кабинете, но ничего не в состоянии был такого сделать, чем бы он был доволен: все выходило холодное, натянутое и обыкновенное, как у прочих цеховых стихотворцев, у коих только слышны слова, а не мысли и чувства. – Итак, не знал, что делать; но как покойная жена его любила его сочинения, с жаром и мастерски нередко читывала их при своих приятелях, то из разных лоскутков собрала

она их в одну тетрадь (которая хранится ныне в библиотеке графа Алексея Ивановича <Мусина-> Пушкина в Москве) и, переписав начисто своею рукою, хранила у себя. Когда же муж беспокоился, что не может ничего по обещанию своему сделать для императрицы, то она советовала поднести ей то, что уже написано, в числе коих были и такие пиесы, кои еще до сведения ее не доходили; сказав сие, подала к удивлению его переписанную ею тетрадь. Не имея другого средства исполнить волю государыни, обрадовался он сему собранию чрезвычайно. Просил приятеля своего Алексея Николаевича Оленина нарисовать ко всякой поэмке приличные картинки (виньеты) и, переплетя в одну книгу, с посвятительным письмом, поднес лично в ноябре 1795 года. Государыня, приняв оную, как казалось с благоволением, занималась чтением оной сама, как камердинер ее г. Тюльпин сказывал, двои сутки; но по прочтении отдала г. Безбородке, а сей г. Трощинскому, — с каковым намерением, неизвестно. Недели с две прошло, что никто ни слова не говорил; но только, когда по воскресеньям приезживал автор ко двору, то приметил в императрице к себе холодность, а окружающие ее бегали его, как бы боясь с ним даже и встретиться, не токмо говорить. Не мог он

придумать, что тому была за причина. Наконец, в третье воскресенье решился он спросить Безбородку, говоря: "Слышно, что государыня сочинения его отдала его сиятельству, то с чем, и будут ли они отпечатаны?" Он, услышав от него вопрос сей, побежал прочь, бормоча что-то, чего не можно было выразуметь. Не зная, что это значит, и будучи зван тогда обедать к графу Алексею Ивановичу Пушкину, поехал к нему. Там встретился с ним хороший его приятель Яков Иванович Булгаков, что был при Екатерине посланником при Оттоманской Порте, а при Павле генерал-губернатором в Польских губерниях. Он спросил его: "Что ты, братец, пишешь за якобинские стихи?" – "Какие?" – "Ты переложил псалом 81-й, который не может быть двору приятен". – "Царь Давид, – сказал Державин, – не был якобинец, следовательно, песни его не могут быть никому противными". – "Однако, – заключил он, – по нынешним обстоятельствам дурно такие стихи писать". Но гораздо после того Державин узнал от француженки Леблер, бывшей у племянниц его Львовых учительницей, что во время французской революции в Париже сей самый псалом был якобинцами перефразирован и пет по улицам для подкрепления народного возмущения против

Людовика XVI. Как Державин тогда совсем того не з-нал, то и был спокоен; но, приехав от графа Пушкина с обеда, ввечеру услышал он от посетившего его г. Дмитриева <...>, что будто велено его секретно (разумеется, чрез Шешковского) спросить, для чего он и с каким намерением пишет такие стихи? Державин почувствовал подыск вельмож, ему недоброжелательных, что неприятно им видеть в оде "Вельможа" и прочих его стихотворениях развратные их лице-изображения: тотчас, не дождавшись ни от кого вопросов, сел за бюро и написал анекдот <...]>, в коем ясно доказал, что тот 81-й псалом перефразирован им без всякого дурного намерения и напечатан в месячных изданиях под именем "Зеркало света" в 1786 году, присовокупя к тому свои рассуждения, что если он тогда не произвел никакого зла, как и подобные ему иные стихи, то и ныне не произведет. Запечатав в три пакета, при кратких своих письмах послал он тот анекдот к трем ближайшим в то время к императрице особам, а именно: к князю Zubову (фавориту), к графу Безбородке и к Трощинскому, у которого на рассмотрении сочинения его находились. В следующее воскресенье по обыкновению поехал он во дворец. Увидел против прежнего благоприятную

перемену: государыня милостиво пожаловала ему поцеловать руку; вельможи приятельски с ним разговаривали и, словом, как рукой сняло: все обошлись с ним так, как ничего не бывало. Г. Грибовский, бывший у него в Олонце секретарем, а тогда при императрице статс-секретарь, всем ему обязанный (а тогда его первый неприятель, который, как слышно было, читал пред императрицей тот анекдот), смотря на него с родом удивления, только улыбался, не говоря ни слова. Но при всем том сочинения его, Державина, в Свет не вышли, а отданы были еще на просмотрен не любимцу императрицы, князю Zubову, которые у него хотя вередко в кабинете на столике видал, но не слышал от Него о них ни одного слова, где они и пролежали целый почти 1796 год, то есть по самую императрицы кончину.
<...>

...но всех каверз и криводушничества, разными министрами чинимого против Державина в продолжение царствования императрицы Екатерины, описывать было бы весьма пространно; довольно сказать того, что окончила дни свои — не по чувствованию собственного своего сердца, ибо Державин ничем пред ней по справедливости не провинился, но по внушениям его недоброжелателей — нарочито в

неблагоприятном расположении.

Конец же ее случился в 1796 году, ноября в 6-й день, в 9-м часу утра. Она, по обыкновению, встала поутру в 7-м часу здорова, занималась писанием продолжения "Записок касательно российской истории", напилась кофею, обмакнула перо в чернильницу и, не дописав начатого речения, встала, пошла по позыву естественной нужды в отдаленную камеру и там от эпилептического удара скончалась. Приписывают причину столь скоропостижной смерти воспалению ее крови от досады, причиненной упрямством шведского королевича, что он отрекся от брака с великою княжною Александрою Павловною; но как сия материя не входит своим событием в приключения жизни Державина, то здесь и не помещается. Но что касается до него, то, начав ей служить, как выше видно, от солдатства, с лишком чрез 35 лет дошел до знаменитых чинов, отправляя беспорочно и бескорыстно все возложенные на него должности, удостоился быть при ней лично, принимать и исполнять ее повеления с довольною доверенностию; но никогда не носил отличной милости и не получал за верную свою службу какого-либо особого награждения (как прочие его собратья, Трощинский, Попов, Грибовский и

иные многие: он даже просил, по крайнему своему недостатку, обратить жалованье его в пансион, но и того не сделано до выпуска его из статс-секретарей) деревнями, богатыми вещами и деньгами, знатными суммами, кроме, как выше сказано, пожаловано ему 300 душ в Белоруссии, за спасение колоний, с которых он во всем получал доходу серебром не более трех рублей с души, то есть 100 рублей, а ассигнациями в последнее время до 2000 рублей, да в разные времена за стихотворения свои подарков, то есть: за оду "Фелице" – золотую табакерку с бриллиантами и 500 червонцев, <за оду> "На взятие Измаила" – золотую же табакерку, да за тариф – с бриллиантами же табакерку, по назначению, на билете ее рукою подписанному: "Державину"; получил после уже ее кончины от императора Павла. Но должно по всей справедливости признать за бесценнейшее всех награждений, что она, при всех гонениях сильных и многих неприятелей, не лишала его своего покровительства и не давала, так сказать, задушить его; однако же и не давала торжествовать явно над ним огласкою его справедливости и верной службы или особливую какую-либо доверенностию, которую она к прочим оказывала. Коротко сказать, сия мудрая и

сильная государыня, ежели в суждении строгого потомства не удержит на вечность имя великой, то потому только, что не всегда держалась священной справедливости, но угождала своим окружающим, а паче своим любимцам, как бы боясь раздражить их; и потому добродетель не могла, так сказать, сквозь сей чесночник пробиться и вознестись до надлежащего величия. Но если рассуждать, что она была человек, что первый шаг ее восшествия на престол был не непорочен, то и должно было окружить себя людьми несправедливыми и угодниками ее страстей, против которых явно восставать, может быть, и опасалась, ибо они ее поддерживали. Когда же привыкла к изгибам по своим прихотям с любимцами, а особливо в последние годы князем Потемкиным упоена была славою своих побед, то уже ни о чем другом и не думала, как только о покорении скиптру своему новых царств. Поелику же дух Державина склонен был всегда к морали, то если он и писал в похвалу торжеств ее стихи, всегда, однако, обращался аллегориею, или каким другим тонким образом к истине, а потому и не мог быть в сердце ее вовсе приятным. Но как бы то ни было, да благословенна будет память такой государыни, при которой Россия благоденствовала и которую долго не забудет.

Отделение VII

ЦАРСТВОВАНИЕ ИМПЕРАТОРА ПАВЛА

Ноября 6-го дня 1796 года, поутру часу в 11-м, получил Державин сведение от служившего при Кабинете надворного советника, бывшего прежде при нем секретарем, Маклакова, что государыня занемогла (хотя тогда уже она, как выше сказано, от удара скончалась), и как это иногда случалось, то и уважения большого сия неприятная весть не имела; но после обеда, часу в 6-м, уведомился от товарища своего, сенатора Семена Александровича Неплюева, что она отыде сего света; то поехали они во дворец и нашли ее уже среди спальни лежащую, покрытую белою простынею. Державин, имев вход в внутренние чертоги, вошел туда и, облобызав по обычаю тело, простился с нею с пролитием источников слез. Вскоре приехал сын ее, наследник, или новый император, Павел. Тотчас во дворце пришло все другой вид, загремели шпоры, ботфорты, тесаки, и, будто по завоевании города, ворвались в покои везде военные люди с великим шумом. Но описывать в подробности всех происшествий, тогда случившихся, было бы здесь излишне, ибо они принадлежат до государственной истории, а

не до частной жизни Державина. Он на другой день вообще с прочими государственными чинами в сенатской церкви принес присягу. Потом отправил все погребальные церемонии, быв не один раз дежурным, как во дворце при теле ново-преставившейся императрицы, так и в Невском монастыре при гробе покойного императора Петра III (ибо Павел восхотел соединить тела их в одной могиле в крепости св. апостола Павла, в соборной церкви), и наконец, и при самом погребении, оставаясь все сенатором и коммерц-коллегии президентом. Но скоро вышел от императора указ о восстановлении на прежних Петра Великого правах всех государственных коллегий, в том числе и коммерц, и в то же время, поутру в один день рано, придворный ездовой лакей привез от императора повеление, чтоб он тотчас ехал во дворец и велел доложить о себе чрез камердинера его величеству. Державин сие исполнил. Приехал во дворец, еще было темно, дал знать о себе камердинеру Кутайсову, и коль скоро рассвело, отворили ему в кабинет двери. Государь, дав ему поцеловать руку, принял его чрезвычайно милостиво и, наговорив множество похвал, сказал, что он знает его со стороны честного, умного, безынтересного и дельного человека, то и хочет его сделать правителем

своего верховного совета, дозволив ему вход к себе во всякое время, и если что теперь имеет, то чтобы сказал ему, ничего не опасаясь. Державин, поблагодаря его, отозвался, что он рад ему служить со всею ревностию, ежели его величеству угодно будет любить правду, как любил ее Петр Великий. По сих словах взглянул он на него пламенным взором; однако весьма милостиво раскланялся. Это было в понедельник. Во вторник действительно вышел указ об определении его, но не в правители Совета, как ему император сказал, а в правители канцелярии Совета, в чем великая есть разница; ибо правитель Совета мог быть как генерал-прокурор в Сенате, то есть пропустить или не пропустить определение, а правитель канцелярии только управлять ею. Сие его повергло в недоумение, и для <Стого> во вторник и в среду, делая визиты членам Совета, искренно некоторым из них открыл, что он, будучи сенатором, не знает, как поступить, и для того решился попросить у государя инструкции. <...>

Настал четверг, то есть день советский. Державин, приехав в оный, не знал, как ему себя вести, и для того, не сядя ни за стол членов, ни за стол правителя канцелярии, слушал дела стоя или ходя вокруг присутствующих. По окончании заседания князь Александр Борисович Куракин,

встав, приказывал, что когда напишется протокол о делах, о коих рассуждали, то чтоб оный привез он к нему для поднесения императору. Сие его пуще смутило, ибо изустно слышал от государя, что он ему во всякое время с делами дозволил к себе доступ; а как он во все сии дни имел счастье с прочими членами Совета приглашаем быть к обеду и ужину его величества, то имел случай говорить и с самим Куракиным о своем намерении просить инструкции, дав ему почувствовать, что ему самому вход император к себе дозволил. Хотя сей вельможа на то был согласен, однако (как) Державин после узнал, что он был им всем неприятен, ибо по собственному своему выбору, а не по их представлению государь посадил его в Совет. Вследствие чего и нашли они минуты сделать на него разные неблагоприятные внушения, как между прочим, что Державин низким почитает для себя быть из сенаторов правителем канцелярии Совета; что Вейдемейер, бывший тогда оным, считает тем себя обиженным. Но как бы то ни было, Державин, следуя твердо своему намерению, приехал во дворец рано поутру в пятницу просить инструкции. Его не допустили... <...> По сей причине принужден был в пятницу ехать ни с чем домой; а в субботу, долго ожидав, был принят,

казалось, довольно ласково. Он спросил: "Что вы, Гавриил Романович?" Сей ответствовал: "По воле вашей, государь, был в Совете; но не знаю, что мне делать". – "Как, не знаете? делайте, что Самойлов делал". (Самойлов был при государыне правителем канцелярии Совета, счисляясь при дворе камергером.) "Я не знаю, делал ли что он: в Совете никаких его бумаг нет, а сказывают, что он носил только государыне протоколы Совета, потому осмеливаюсь просить инструкции". – "Хорошо, предоставьте мне". Сим бы кончить должно было; но Державин по той свободе, которую имел при докладах у покойной императрицы, продолжив речь, сказал: не знает он, что – сидеть ли ему в Совете, или стоять, то есть быть ли присутствующим, или начальником канцелярии. С сим словом вспыхнул император; глаза его как молнии засверкали, и он, отворя двери, во весь голос закричал стоящим пред кабинетом Архарову, Трощинскому и прочим, из коих первый тогда был в великом фаворе: "Слушайте: он почитает быть в Совете себя лишним", – а оборотясь к нему: "Поди назад в Сенат и сиди у меня там смирно, а не то я тебя проучу". Державин как громом был поражен таковым царским гневом и в беспамяты довольно громко сказал в зале стоящим: "Ждите, будет от

этого... толк". После сего выехал из дворца с великим огорчением, размышляя в себе: ежели за то, что просил инструкции, дабы вернее отправлять свою должность, заслужил гнев государя, то что бы было, когда <б>, не имея оной, сделал какую погрешность, а особливо в столь критическое время, когда все прежние учреждения Петра Великого и Екатерины зачали сумасбродно без всякой нужды коверкать. В таковых мыслях приехав домой, не мог удержаться от горестного смеха, рассказывая жене с ним случившееся. Скоро после того услышал, что в Сенат прислан именной указ, в коем сказано, что он отсылается назад в сие правительство за дерзость, оказанную государю; а кавалергардам дано повеление, чтоб его не впускать во время собрания в кавалерскую залу. Таковое посрамление узнав, родственники собрались к нему и, с женою вместе осыпав его со всех сторон журьбою, что он бранится с царями и не может ни с кем ужиться, принудили его искать средств преклонить на милость монарха. Не знал он, что делать и кого просить. Многие вельможи, окружавшие государя, хотя были ему знакомы и оказывали прежде благоприятность, но не имели духа и чувства сострадания, а жили только для себя; то он их и не хотел беспокоить, а по

прославляемым столь много добродетелям и христианскому житию, казалось ему лучше всех прибегнуть к князю Николаю Васильевичу Репнину, которого государь тогда уважал, и что, как все говорили, он склонен был к благотворению: то он и поехал к нему поутру рано, когда у него еще никого не было и он был в кабинете, или в спальней своей еще только одевался. Приказал о себе доложить, дожидаясь в другой комнате, и как они разделены были одной стеной, или дверью, завешенною сукном, то и слышен был голос докладчика, который к нему вошел. Он ему сказал: "Пришел сенатор и хочет вас видеть". – "Кто такой?" – "Державин". – "Зачем?" – "Не знаю". – "Пусть подождет". Наконец, после хорошего часа, вышел, и с надменным весьма видом спросил: "Что вы?" Он ему пересказал случившееся с ним происшествие. Он, показав презрение и отвернувшись, сказал: "Это не мое дело мирить вас с государем". С сим словом Державин, поклонясь, вышел, почувствовав в душе своей во всей силе омерзение к человеку, который носит на себе личину благочестия и любви к ближнему, а в сердце адскую гордость и лицемерие. Скоро после того низость души сего князя узнали и многие, и император его от себя отдалил. Таковы-то почти

все святоши; но как бы то ни было, Державин, по ропоту домашних, был в крайнем огорчении и, наконец, вздумал он без всякой посторонней помощи возвратить к себе благоволение монарха посредством своего таланта. Он написал оду на восшествие его на престол, напечатанную во второй части его сочинений под надписью "Ода на Новый 1797 год" и послал ее к императору чрез Сергея Ивановича Плещеева. Она полюбилась и имела свой успех. Император позволил ему чрез адъютанта своего князя Шаховского приехать во дворец и представиться, и тогда же дан приказ кавалергардскому начальнику впускать его в кавалерскую валу по-прежнему.

Между тем в те дни, как он почитался в Совете, неприятели его смастерили выжить из коммерц-коллегии, которая восстановлена в превосходнейшее достоинство, чем учреждена была с самого начала Петром Великим, ибо и комиссия о коммерции, и таможенная канцелярия, — все заключалось в ней. Президентом пожалован тайный советник Петр Александрович Соймонов, и Державин, по исключении его из Совета, остался только в Сенате, в межевом департаменте, и там, когда слу" чались спорные и шумливые дела, то он, шутя, повторял императорские слова: "Мне велено сидеть смирно, то делайте вы как

хотите; а я сказал уже мою резолюцию". Однако же в сие время многие прибегали к нему утесненные, прося быть третейским судьей в их запутанных и долго продолжающихся тяжбах, и также отдавали себя и их имения по расстроенным от долгов их обстоятельствам. <...>

В наступившем 1798 году Державин получил, по избранию самого императора, кроме вверенных опек графини Брюс, князя Голицына и госпожи Колтовской, новые комиссии, а именно, в мае месяце велено было ему ехать в Вятскую губернию для следования посланных туда сенаторов Ивана Володимировича Лопухина и Матвея Григорьевича Спиридова, которые в рапорте своем императору донесли о некоторых сделанных ими положениях против законов и несоответственно данной им власти. Но Державин искусно умел от сей хлопотливой посылки отделаться, сказав, что он сейчас готов ехать, но думает, что не будет никакой в том пользы, но, напротив, может выйти из сего новое следствие, для того, что один сенатор против двух сенаторов вероятия правительства не заслужит, ежели он и действительно найдет какие их беспорядки, а лучше пусть правительствующий Сенат, сообразив сделанное ими с законами и найдя их самые погрешности, их прикажет исправить; тогда они

не столько могут обидеться, как тем, что бы один равный им собрат сделал. Уважено было сие рассуждение, и посылка без всякого гнева императорского отменена. Но только лишь сия история прошла <...>, как получил еще именной указ ехать тотчас в Белоруссию и, по оказавшемуся там великому в хлебе недостатку, сделать такие распоряжения, чтоб не умирали обыватели с голоду. Ни денег на покупку хлеба, ни других каких пособий не дано, а велено казенные староства, пожалованные владельцам на урочные годы, поверить с их контрактами, и ежели где оные во всей силе не соблюдены, то отобрать те имения по-прежнему в казенное ведомство. Но и собственные владельческие крестьяне, ежели где усмотрены будут не снабженными от владельцев хлебом и претерпевающими голод, то отобрав от них, отдать под опеку. Равно исследовать поведение евреев, не изнуряют ли они поселян в пропитании их обманами, и искать средств, чтоб они, без отягощения последних, сами трудом своим пропитывать себя могли.

Державин, приехав в Белоруссию, самолично дознал великий недостаток у поселян в хлебе или, лучше, самый сильный голод, что питались почти все пареною травою, с пересыпкою самым малым

количеством муки или круп. В отвращение чего, разведав у кого у богатых владельцев в запасных магазинах есть хлеб, на основании <указа> Петра Великого 1722 года, <велел> взять заимообразно и раздать бедным, с тем, чтоб при приближающейся жатве, немедленно такое же количество возвратить тем, у кого что взято. А между <тем>, проезжая деревни г. Огинского, под Витебском находящиеся, зашел в избы крестьянские, и увидев, что они едят пареную траву и так тощи и бледны, как мертвые, призвал приказчика и спросил, для чего крестьяне доведены до такого жалостного состояния, что им не ссужают хлеба. Он, вместо ответа, показал мне повеление господина, в котором повелевалось непременно с них собрать, вместо подвод в Ригу, всякий год посылаемых, по два рубли серебром. "Вот, – сказал при том, – ежели бы и нашлись у кого какие денжонки на покупку пропитания, то исполнить должны сию господскую повинность". Усмотря таковое немилосердное сдирство, послал тотчас в губернское правление предложение, приказал сию деревню графа Огинского взять в опеку по силе данного ему именного повеления. Услыша таковую строгость, дворянство возбудилось от дремучки или, лучше сказать, от жестокого равнодушия к человечеству:

употребило все способы к прокормлению крестьян, достав хлеба от соседственных губерний. <...>

Исполнением сих комиссий Державин пришел было у императора Павла в великое уважение и доверенность.

Не успел он по повелению его возвратиться в Петербург, как и сделан паки президентом коммерц-коллегии в августе еще месяце. <...>

Государю он лично представлен не был, неизвестно для каких причин, а как сказывал господин Оболянинов, то для того будто, что государь отозвался: "Он горяч, да и я, то мы опять поссоримся; а пусть чрез тебя доклады его ко мне идут". <...>

...остался Державин от великих обещаний, по своей богобоязненности ни с чем, как токмо с добрым именем и доверенностью государя, в доказательство которой ноября 23 дня пожалован в финанс-министры.

Весьма удивился, что, быв коммерц-президентом в действительном служении не более двух месяцев и не успев еще войти в познание сей части, уже получает новую, весьма обширную и важнейшую первую. Но весьма странно казалось ему также и то, что граф Васильев оставался в прежней должности

государственного казначея: то не понимал, как ему быть финанс-министром при оном, и которое звание пред которым преимущественнее, и кто из них начальствовать должен был; а как Васильев его и по чину и по службе считался старее, то и не мог он быть под командою у младшего: финанс-министра звание было важнее государственного казначея. Словом, в такой путанице поехал объясниться к генерал-прокурору, по которого докладу писались и выходили государевы указы. Он ему доказал, что финанс-министров с самого начала политического образования России никогда не бывало, а в других государствах, сколько ему известно, в сей пост облеченный чиновник есть весьма великая особа: он изобретатель и распорядитель всех государственных доходов и расходов, а государственный казначей не что иное, как счетчик оных и то же самое, что была ревизион-коллегия, учрежденная Петром Великим и до установления в 1779 году экспедиции о государственных доходах существовавшая; финанс-министр должен иметь особливую инструкцию, в которую, как в узел, должны входить все источники сил государственных. Императрица Екатерина отлагала от времени до времени оную, или наказ издать казенного

управления, но не успела и так скончалась; а для того-то экспедиция о государственных доходах и управлялась временным начертанием ее должности, поднесенным князем Вяземским для сведения только императрицы, которое писал наскоро Державин.

Г. Обольянинов, вняв сему объяснению, доложил императору, который, отменя прежний свой указ, коим пожалован был Державин в финанс-министры, наименовал его государственным казначеем, отставя г. Васильева вовсе от службы. Таковая на него опала произошла от каких-то сплетней, что не удовлетворил он Выдачею какой-то суммы по желанию и просьбе Кутайсова, который за то и наговорил императору, что будто он утаивает всегда прямое количество в казначействе денег, заставляя терпеть недостаток даже военные департаменты. Сего было уже очень много возбудить гнев вспыльчивого и самовластного владетеля. Велено было тотчас сочиненную и поднесенную г. Васильевым тогда табель расписания доходов и расходов на наступивший год рассмотреть Державину. Поелику же она составляется вкратце из многих перечней, взятых из ведомостей и счетов всего государства, то надобно было все просмотреть оные, чтоб

удостовериться о точности расписания; но как в скорости сего никоим образом не можно было сделать, а император требовал, то Державин и не знал, что делать. <...>

В начале царствования императора Павла генерал-прокурор князь Куракин выпросил себе и многим своим приятелям великое количество на выбор лучших казенных земель, которые у казенных поселян, лишние сверх 8-ми десятин, отбирали даже под огородами, не токмо под пашнями, а те, кому они были отданы, продавали тем же самым поселянам рублей по 300 и по 500 десятину и таким образом удовлетворяли ненасытную свою алчность. В то самое время, когда Державин чрез Лопухина просил на обмен себе земли 200 только четвертей на Званке из ямской противулежащей за Волховом дачи, у которых были излишние сверх 15-ти десятин, то и в том отказано. Когда князь Куракин и другие хищнически набили свои карманы, то будто из жалости и из состраданья, что у казенных крестьян мало земли, исходатайствовали указ, чтоб всех казенных крестьян наделить по 15-ти десятин на душу. И тогда пошло притеснение владельцев при решении дел, что начали отнимать не только примерные земли, но и писцовые, чтоб набрать недостаток в 15 десятин; а где в

смежности нет, тем додавать и в дальнем расстоянии. Видя все сие, Державин, присутствуя в межевом департаменте, нередко шумливал против генерал-прокуроров, князя Куракина и потом князя Лопухина, также и государственного казначея Васильева, что они так из пристрастия и корыстолюбия во зло употребляли щедроту государя; а как они сие ни во что ставили, то сочинил он известную в 3-ей части его сочинений песню:

Что мне, что мне суетиться,
Вьючить бремя должностей,
Если свет за то бранится,
Что иду прямой стезей?
Пусть другие работают,
Много умных есть господ:
И себя не забывают,
И царям сулят доход.

Распустил по городу, желая, чтоб она дошла до государя и чтоб его спросили, на чей счет она писана: тогда бы и сказал он всю правду; но как они боялись до сего довести государя, чем бы открыться могли все их пакости, то и терпели, тайно злобясь, делая между тем на его счет неприятные императору внушения. Вследствие чего в одно воскресенье, проходя он в церковь, между собравшимися в прохожей зале увидев

Державина, с яростным взором, по обыкновению его, раздув ноздри, так фыркнул, что многие то заметили и думали, что верно отошлет Державина в ссылку или, по крайней мере, вышлет из города в деревню; но Державин, надеясь на свою невинность, пошел, будто ничего не приметя, в церковь, помолился богу и дал себе обещание в хвалу божью выпросить к своему гербу надпись: "Силою вышнею держусь", что на другой день и исполнил, подав в герольдию прошение, в котором просил себе написания грамоты с прибавлением вышесказанного девиза, потому что в гербе его изображена рука, держащая звезду, а как звезды держатся вышнею силою, то и смысл такового девиза был ему очень приличен, что он никакой другой подпоры не имел, кроме одного бога; императору же могло быть сие не противно, потому что силу вышнего, по самолюбию своему, почитал он в себе. Герольдия поднесла доклад и с сим девизом герб Державина подтвержден. <С...>.

Скоро после того, и помнится, в первый день 1798-го или 1799-го года, генерал-прокурор Лопухин многим сенаторам, унижавшимся пред ним или ласкательствующим ему, выпросил лент; Державин же, хотя он был старше других и более прочих трудился, однако обойден. Лишь только

разнесся о сем слух в собрании при дворе, то услышался всеобщий ропот на неправосудие. Кутайсов, или кто другой, пересказал о том императору. Державин между тем, привыкнущий почасту сносить таковые обиды, поехал из дворца равнодушно обедать к графу Строганову, где и занялся бостоном до самого вечера, не хотя ехать во дворец на бал, куда хозяин собирался. Приехавши домой, услышал, что приезжал придворный ездовой и именем императора звал его во дворец. Не зная тому причины, весьма удивился и тотчас поехал. Лишь только входит в Егорьевскую залу, где уже начался бал, то многие, встречая, сказывают: "Тебя государь спрашивал". Наконец, увидя его, генерал-прокурор князь Лопухин сказал: "Вам император намерен надеть Аннинскую ленту; но теперь уже поздно, то пожалуйста ко мне завтра поутру пораньше, я вас ему в кабинете представлю". Так и сделалось. Я к нему приехал, и вместе, в его седши карету, отправились во дворец. Он зачал, будто по доверенности, говорить, что государь давеча было хотел надеть на вас ленту с прочими, но поусомнился, что вы все колкие какие-то пишете стихи; но я уже его упросил: итак, он приказал вас представить к себе сегодня. Державин поблагодарил, зная, что он его ему рекомендовал,

а может быть, и отговаривал; но когда голос публики отозвался в пользу Державина и дошел до государя, то он сам захотел, как из нижеследующего увидим, ознаменовать к нему свою милость. Приехав во дворец, несколько подождал в кабинетской канцелярии и скоро позван был в кабинет: государь вошел из противных дверей и набросил на него ленту; Державин успел только сказать, что ежели он чем виноват... но император, не дав договорить начатых слов, зарыдал и от него скороподвижно ушел. Из сего не иное заключить можно, что государь к нему был хорошо расположен; но злобным наушничеством и клеветою был отвращаем. <...>

Когда родился великий князь Михаил Павлович, то во время собрания при дворе знатных особ для поздравления, граф Завадовский и господин Козодавлев, который тогда был обер-прокурор в Сенате, между радостными разговорами, при таковых случаях бываемыми, говорил Державину, чтоб он написал на день рождения царевича стихи. Он им обещал, и в первое собрание привез с собой оду, которой тому и другому отдал по письменному экземпляру; а как сия пиеса имела некоторые в себе резкие выражения, как то между прочим:

Престола хищнику, тирану
Прилично устрашать врагов,
Но богом на престол венчанну
Любить их должно, как сынов;

то натурально и стала публика поговаривать, опасаясь, чтоб сочинителя в столь смутное время, каково было Павлово, не сослали в ссылку, или бы какого другого ему огорчения не сделали. Державин, в полном удостоверении о своей невинности и будучи готов ответствовать, что он о хищнике престола говорил, а император воцарился по наследству законно, то, не опасаясь ничего, не робел и, невзирая на разные неблагоприятные для него слухи, всюду выезжал. В наступившее воскресенье, приехав в придворный театр, встретился в дверях с Козодавлевым: то сей, увидев его, побледнел и бросился от него, как от язвы, опрометью прочь; в театре же, увидя его пред собою на передней лавке сидящего, тотчас вскочил и ушел в столь отдаленное место, что его видеть не мог. Державин не знал, к чему приписать такое от себя приятеля удаление, которому он некогда и чин статского советника выпросил у императрицы Екатерины и всегда считал его себе привязанным человеком. Но после узнал, что страшные

разнесшиеся слухи, что будто император гневен за оду, были причиною трусости г. Козодавлева, чтоб не почли его сообщником в сочинении оной. Итак, презрев такую низость души, был спокоен. Но на первой неделе великого поста, когда говел Державин с своим семейством, в среду, видел неприятный сон, и хотя не верил никаким привидениям, однако подумал, чтоб не случилось с ним чего, говорил жене, чтоб она не пугалась от разносящихся слухов, а уповала на бога. Но когда они были в церкви, то посреди самой обедни входит в церковь фельдъегерь от императора и подает ему толстый сверток бумаг; жена, увидев, помертвела. Между тем, открыв сверток, находит в нем табакерку, осыпанную бриллиантами, в подарок от императора присланную за ту оду, при письме г. статс-секретаря Нелединского, в коем объявлено ему от его величества высочайшее благоволение. На другой день, поехав в Сенат, находит в общем собрании г. Козодавлева, показывает ему табакерку, который с радостным восторгом бросается ему на шею и поздравляет с государскою милостию. Державин, отступя от него, сказал: "Поди прочь от меня, трус. Зачем ты намедни от меня бегал, а теперь целуешь?"

<...> В 1798 году, когда напечатаны были в Москве в первый раз сочинения Державина,

цензура тамошняя по строгому тогдашнему времени усомнилась напечатать и не напечатала в оде "Изображение Фелицы" двух строк, а именно: "Самодержавства скиптр железный II Моей щедротой позлащу", мог только упросить, чтоб для сих стихов оставили праздное место, и писал генерал-прокурору князю Куракину, говоря, что ежели Екатерина, будучи также самодержавная государыня, не токмо не воспретила, но с благоволением приняла сей стих, то для чего императору Павлу может быть неприятен, когда он не менее ее позлащает щедротами свой скипетр? Куракин докладывал по сему письму, и как <Державин> никакого не получил ответа, то во всех отпечатанных экземплярах и написал в пробеле сии два стиха своею рукою, не опасаясь толкования трусов.

В навечерье <...> страшного переворота Державин был у генерал-прокурора до 12-го часа ночи и, как государственный казначей, трактовал с ним и с купцом Рюминым о подряде соли во все российские города, по отдаче оной на откуп еврею Перцу в полуденных губерниях из крымских соляных озер, и положив на мере сию операцию, поехал домой. Но часу поутру восьмом на другой день вбегает к нему свояченица его, <Сжена> г. Нилова, который после был губернатором в

Тамбове, жившая с мужем у него в доме, и рассказывает, запыхавшись, что император скончался. Происшествие сие не оставят описать историки; но Державин, по ревности своей и любви к отечеству желая охранить славу наследника и брата его Константина, которых порицали в смерти их отца, и тем укоризну и опасность отвратить империи, написал бумагу, в которой советовал хотя видом одним произвести следствие, которым бы обвинение сгладить с сих принцев.., с которой бумагой и ездил раза три во дворец; но был приближенными, которые его держали, так сказать, в осаде, не допущен. <...>

Отделение VIII

ЦАРСТВОВАНИЕ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I

Как выше явствует, на 12-е марта 1801 года император Александр вступил на престол Всероссийской империи. Первый манифест его был о вступлении на престол, в котором торжественно обещано, что царствовать будет по закону и по сердцу Екатерины. В то же самое время состоялся указ, чтоб по-прежнему государственным казначеем быть графу Васильеву, а Державину только присутствовать в Сенате. По нескольких днях, по дружбе с Трощинским, Васильев получил всемилостивейший рескрипт, в котором, несмотря на то, что не мог дать верного отчета казне, расхвалился он чрезвычайно за исправное управление государственными доходами. Васильев, внеся сей рескрипт в первый Сената департамент, хотел потщеславиться оным в укоризну Державину, сказав: "Вот многие говорят, что у меня плохо казна управлялась; вместо того сей рескрипт противное доказывает". Державин отвечивал: "На что вам, граф, грешить на других? а я вам говорю в глаза, что вы в таком

болоте безотчетностию вашею, из коего вам вовек не выдраться". Он покраснелся и замолчал. Последствие доказывало и поныне доказывает Державина правду, что часть сия в таком беспорядке, которого в благоустроенном государстве предполагать никак бы не долженствовало.

В дни царствования своего император Александр восстановил Дворянскую грамоту, нарушенную отцом его; совершенно уничтожил тайную канцелярию, даже велел не упоминать ее названия, а производить секретные дела в обыкновенных публичных присутственных местах и присылать на обревизование в первый Сената департамент. И как в то время случилось, что одного в Тамбовской губернии раскольника духоборской секты судили в неповиновении верховной власти, который не признавал совсем государя, то уголовная палата и присудила его к смертной казни и наместо оной к жестокому наказанию кнутом и к ссылке в Сибирь на вечную каторжную работу. Но как в угождение милосердию государя Сенат не хотел его осуждать так строго, то и не знали, что с ним делать, дабы, с одной стороны, не потакнуть ненаказанностью неуважению вышней власти, а с другой, не наказать и не обременить выше меры

преступления точным исполнением закона. Державин сказал: "Поелику императрица Екатерина в наказе своем советовала наказание извлекать из естества преступления, и как сущность вины его состоит в том, что не признает он над собою никого, то и отправить его одного на пустой остров, чтоб жил там без правительства и без законов, подобно зверю". Все на мнение сие согласились: так и сделано. <...>

Государь приказал Державину чрез князя Зубова написать организацию, или устройство, Сената. Оно и написано в духе Екатерины, то есть сообразно ее учреждению о управлении губерний; ибо регламенты Петра Великого смешивали в себе все вышеупомянутые власти, то они и не могли делать гармонического состава в управлении империи. Хотя не удостоилась сия организация письменной конфирмации государя и не обнародована, но Державин получил в Москве при коронации за нее орден св. Александра Невского.

Едва же приехал из Москвы, а именно в ноябре месяце 23-го числа ввечеру, Державин был позван чрез ездового к государю. Он предложил ему множество изветов, от разных людей к нему дошедших о беспорядках, происходящих в Калужской губернии, чинимых калужским

губернатором Лопухиным, приказывая, чтоб ехал в Калугу и открыл злоупотребления сии формально обзрением своим как сенатор, сказывая, что по тем изветам нарочно посланными от него под рукою уже ощупаны, так сказать, все следы, и остается только открыть их официально. Державин, – прочетши сии бумаги и увидев в них наисильнейших вельмож замешанных, на которых губернатор надеясь чинил разные злоупотребления власти своей, а они его покровительствовали, – просил у императора, чтоб он избавил его от сей комиссии, объясняя, что из следствия его ничего не выйдет, что труды его напрасны будут и он только вновь прибавит врагов и возбудит на себя ненависть людей сильных, от которых клевет и так он страждет. Император с неудовольствием возразил: "Как, разве ты мне повиноваться не хочешь?" – "Нет, ваше величество, я готов исполнить волю вашу, хотя бы мне жизни стоило, и правда пред вами на столе сем будет. Только благоволите уметь ее защищать; ибо все дела делаются чрез бояр. Екатерина и родитель ваш бывали ими беспрестанно обмануты, так что я по многим поручениям от них <...> хотя все, что честь и верность требовали, делал, но правда всегда оставалась в затмении, и я презираем". – "Нет! – с

уверительным видом возразил император, – я тебе клянусь, поступлю как должно". Тогда отдал он ему изветы и все бумаги от посланных от него потаенно, для разведывания и поверки изветов к нему доставленные, примолвив: "Еще получишь в Москве от коллежского советника Каразина. А между тем заготовь и принеси ко мне завтра указ к себе и к кому должно об открытии кратким обозрением злоупотреблений в Калужской губернии". Державин без огласки сие на другой день исполнил: принес к нему для подписания к себе указ, в котором было приказано отправиться ему секретно под предлогом отпуска в Калугу и там сперва поверить изветы с гласом народа, и когда они явятся сходны, тогда открыть формальное свидетельство губернии.

Вследствие чего на другой день, то есть января 5-го дня 1802 года, отправился он без огласки в Калугу... <...>

...быстрое следствие не могло не обнаружить истины. Открылись злоупотребления губернатора: в покровительстве смертоубийства, за взятки, <...> в требовании взяток себе <...> и в прочих неистовых, мерзких и мучительских поступках, в соучастии с архиереем, о чем подробно описывать было бы здесь пространно; каковых, как то важных уголовных и притеснительных дел

открыто следующих до решения Сената и высочайшей власти 34, не говоря о беспутных, изъявляющих развращенные нравы, буйство и неблагопристойные поступки губернатора, как то: что напивался пьян и выбивал по улицам окны, ездил в губернском правлении на раздьяконе верхом, приводил в публичное Дворянское собрание в торжественный день зазорного поведения девку, и тому подобное, каковых распутных дел открылось 12-ть, да беспорядков по течению дел около ста. Но как злоупотребитель власти губернатор был сам в губернии и управлял оною, то и не смели сельской и градской полиции чиновники доводить в точности на своего начальника; что они повеления его исполняли, то сами по себе затмевались некоторые истины; а потому Державин, послав нарочного курьера в Петербург, испросил у императора позволения удалить губернатора от должности и препоручить оную до указа вице-губернатору. <...>

С сим запасом прибыл в Петербург в первых числах апреля. Приехав во дворец, приказал доложить, но не был принят, а приказано приезжать на другой день. Будучи допущен, увидел суровую встречу государя, который сердито сказал ему: "На вас есть жалобы". – "Я знаю, государь, – сказал Державин, – вы мне

изволили прислать их подлинником". – "Для чего же это?" – "Я вас теперь, – отвечивал Державин, – пространным объяснением не беспокою, которое изволите прочесть со временем, не торопясь, а теперь смею только представить подлинный к вашему величеству рапорт губернатора от 31-го января, в котором он вам доносит, что жестокими моими поступками в заведенной мною тайной канцелярии губерния вся встревожена и что он ожидает дурных последствий от народа". – "Так, – государь сказал, – я этот рапорт видел и послал его к вам. Что вы мне на него скажете?" – "Я ничего не скажу, – сказал Державин, – а вот другой рапорт того же губернатора ко мне от того же самого месяца и числа, в котором он меня уведомляет, как и повседневно то делал, что в губернии все обстоит благополучно". – "Как! – вскрикнул государь, взглянув на тот и на другой рапорты, – так он бездельник! Напиши указ, чтоб судить его". – "Нет, государь! – возразил смело Державин, – позвольте мне теперь не повиноваться". – "Как?" – "Так: когда вы изволили во мне усомниться, то не угодно ли будет вам лучше удостовериться во мне и приказать пересмотреть мое следствие, нет ли в нем каких натяжек к обвинению невинности". – "Хорошо", – и в ту же минуту приказал составить

комитет, назнача в него членами: графа Александра Романовича Воронцова, графа Валериана Александровича Зубова, графа Николая Петровича Румянцева и его, Державина, для объяснений в случае каких неясностей, сказав, чтоб рассмотрели в подробности все бумаги и вошли бы к нему с докладом за общим всех подписанием, заготовя при том и проекты указов, кому и куда какие следуют.

Таковым рассмотрением комитет занимался с лишком 4 месяца; каждого дела порознь следствие и каждую бумагу наиприлежнее прочитывал и поверял с подлинными показаниями подсудимых... <...> Словом, по рассмотрении всего следствия, не найдено не токмо притеснений или домогательств подсудимым, тем паче каких истязаний, но даже везде и во всем великое снисхождение, так что некоторые, и не из доброжелательных к нему членов, пришли в удивление. <...>

В сем же в 1802 году октября 8-го дня состоялся высочайший манифест о министерстве, в котором, в числе прочих 8-ми, сделан Державин юстиц-министром, с названием купно генерал-прокурора. В сей день ввечеру, когда случились у Державина гости, приехал к нему господин Новосильцев и привез тот манифест,

который, отозвав его в другую комнату, прочел ему по повелению, как он сказал, государя императора, с тем чтоб он ему <дал> свое мнение, примолвя, что он назначаем был в финансы-министры, а г. Васильев в генерал-прокуроры; но как сей последний не хотел принять на себя, неведомо почему, сего названия, а убедительно просил сделать его финансы-министром, то Державину и судила судьба быть юстиции-министром, а Васильеву – финансов. Поелику Державин уже видел указ о министерстве подписанным, к сочинению которого он приглашен не был, а сочиняли его, сколько опосле известным учинилось, граф Воронцов и г. Новосильцев или, лучше сказать, тогда составляющие партикулярный или дружеский совет государя императора, с помянутыми двумя, князь Чарторижский и г. Кочубей, люди, ни государства, ни дел гражданских основательно не знающие, то хотя бы можно было в нем важные недостатки заметить, о которых ниже, при удобности, помянется; но как уже было дело сделано, то Державин и отозвался, что он ничего против подписанной его величества воли сказать не может. Министрами были сделаны: иностранных дел – граф Воронцов, помощником его – князь Чарторижский; финансы-министром –

граф Васильев, помощником — г. Гурьев; коммерц-коллегии — граф Румянцев; внутренних дел — г. Кочубей; военных сухопутных сил — г. Вязмитинов; морских сил — г. Мордвинов, помощник у него — г. Чичагов; просвещения — граф Завадовский, помощник его — г. Новосильцев, который отправлял должность и правителя канцелярии сего комитета; юстиц-министром — Державин. На другой день было собрание сего министерского комитета у графа Воронцова, яко старшего члена. Оно было, так сказать, для пробы, каким образом заниматься ему производством дел в личном присутствии государя императора. Державин тут же открыл свое мнение, что без основательных инструкций или наставлений для каждого министра по его должности, не будет от сего комитета в государственных делах никакой пользы, ни успеха, а напротив, будут впадать в обязанности один другого, перессорятся, и все падет в беспорядок, что к несчастью и случилось <...> но господа сочлены все восстали, а особливо граф Воронцов, против сего мнения, сказав, что в инструкциях на первый случай нет нужды, а что со временем оные можно дать. <...>

В мае месяце докладывал Державин государю правила третейского совестного суда, им

сочиненные, над которыми трудился несколько лет по многим опытам третейского судопроизводства и посылал по многим своим приятелям, знающим законы, для примечания. Государь, выслушавши оные правила, вскочил с восторгом со стула и сказал: "Гавриил Романович! Я очень доволен, это весьма важное дело". Однако же те правила и по сие время не выданы к исполнению. Слышно было, что г. Новосильцев их не одобрил, по недоброхотному отзыву окружающих его подьячих, Дружинина и прочих, для того что они пресекали взятки и всякое лихоимство, что было им не по мыслям; ибо тогда бы царство подьяческое прошло. Однако же, при прощании с Державиным, как ниже о том увидим, государь побожился, что он те правила введет в употребление. В мае месяце в том году, то есть 1803-м, путешествовал государь в Лифляндскую губернию, а с ним г. Новосильцев и граф Чарторижский, и как они были враги Державина, то, будучи с государем не малое время, так сказать в уединении, и довершили они Державину свое недоброжелательство разными клеветами, какими именно — неизвестно; но только из того оно разуместь можно было, что Державин, будучи во время отсутствия императора отпущен в новгородскую свою деревню Званку на месяц, не

мог за болезнию к приезду государя возвратиться, то писал к князю Голицыну, прося доложить, что замедление его происходит от болезни, но что он, однако, скоро будет. На что по приезде получил отзыв, что ему нет в нем нужды, хотя бы он и вовсе не приезжал. Державин хотя почувствовал сим отзывом неблаговоление себе государя, но терпеливо снес оное, стараясь, сколько сил его было, исполнять наилучшим образом свою должность. <...>

Выше уже видно, что государь около сего времени час от часу холоднее становился к Державину; но начало внутреннее его к нему неблагоприятное сперва обнаруживаться тем <...>: в одно время, при докладе по какому-то частному письму, увидев число на нем прошедшего месяца, сказал, что "у вас медленно дела идут". Державин отвечал: он смеет удостоверить, что в Сенате ни при одном генерал-прокуроре так скоро и осмотрительно дела не шли, как ныне, что их в общем собрании в одно присутствие иногда решится по 4, и жалоб на оные нет. — "Но вот это письмо доказывает, что так замедлилось", — возразил государь с неудовольствием. "Что касается до частных писем, — сказал Державин, — то это не его дело". — "Как не твое дело?" — с — негодованием спросил

император. "Так, государь! это дело статс-секретарей: они, по частным письмам собрав справки или сделав с кем надлежит сношение, должны докладывать вашему величеству и писать по ним ваши указы, а генерал-прокурорская обязанность состоит прилежно смотреть за Сенатом и за подчиненными ему местами, чтоб они решили дела и поступали по законам: так при покойной вашей бабке было. Я был сам статс-секретарем и очень это знаю, что не затрудняли такими мелочами генерал-прокурора". – "Но при родителе моем так учреждено было". – "Я знаю; но родитель ваш поступал самовластно, с одним генерал-прокурором без всяких справок и соображения с законами делал, что ему было только угодно; но вы, государь, в манифесте вашем при вступлении на престол объявили, что вы царствовать будете по законам и по сердцу Екатерины: то мне не можно иначе ни о чем докладывать вам, как по собрании справок и по соображении с законами, а потому и не могу я и сенатские и частные дела вдруг и поспешно, как бы желалось, обрабатывать и вам докладывать. Не угодно ли будет приказать частные письма раздать по статс-секретарям?" – "Ты меня всегда хочешь учить, – государь с гневом сказал, – я самодержавный государь, и так хочу". <...>

В один день говорит: "Как это у вас дела исполняются, а канцелярия ваша об них не знает?" – "Не понимаю и не знаю, государь, – сказал Державин, – позвольте о том мне справиться, какие бы то ни были дела, которые исполнены, прежде нежели канцелярия о них знала". Державин справился и нашел, что в самой вещи несколько было таких дел, которые уже по исполнении их отданы были к записке в регистратуру канцелярии, например, доносы о похищении казначеями казны, о заговорах и умыслах на особу государя и о прочем, по которым, с доклада его величества, писано было секретно к кому надлежало собственною рукою Державина, чтоб взяты были подлежащие меры, к захвачению похищения казны и заговорщиков, прежде нежели узнала о том канцелярия, для того что имели они и здесь, в городе, и по губерниям приятельские связи, чрез которые происходила преждевременная разглаока, и виновные могли укрываться. Державин объяснил сии обстоятельства государю, и он оправдал его поступки. <...>

В начале октября месяца 1803 году, в одно воскресенье, против обыкновения, государь его не принял с докладами, приказав сказать, что ему недосуг, хотя и был у развода. В понедельник

прислал к нему письмо или рескрипт, в котором, хотя оказывает удовольствие ему за отправление его должности, но тут же говорит, чтоб отнять неудовольствие, доходящее к нему на неисправность его канцелярии, просит очистить пост министра юстиции, а остаться только в Сенате и Совете присутствующим. Державин не знал, что подумать и чем по должности мог он прослужиться, отправляя в оную со всем своим усердием, честностию, всевозможным прилежанием и бескорыстием; но рассудя, что у монархов таковыми качествами или добродетелями найти совершенного благоволения не можно, написал ему письмо, в котором намянул с лишком 40-летнюю ревностную службу и то, что он при бабке его и при родителе всегда был недоброхотами за правду и истинную к ним приверженность притесняем и даже подвергаем под суд, но, по непорочности, оправдывай и получал большее возвышение и доверенность, так что удостоен был и приближением к их престолу; что и ему служа, шел по той же стезе правды и законов, несмотря ни на какие сильные лица и противные против его партии; <...> заключил, что ежели такой юстиц-министр, который следует законам и справедливости, не угоден, то чтоб отпустил его с

честью; <...> ибо он не признает себя виновным или прослужившимся. <...> Он отвечал ему также запиской, что он может к нему приехать на другой день, то есть в четверг, в обыкновенное докладное время, то есть в 10-м часу поутру, что и было исполнено. Тут было пространное и довольно горячее объяснение со стороны Державина, в котором он спрашивал его, в чем он пред ним прослужился. Он ничего не мог сказать к обвинению его, как только: "Ты очень ревностно служишь". – "А как так, государь, – отвечал Державин, – то я иначе служить не могу. Простите". – "Оставайся в Совете и Сенате". – "Мне нечего там делать". – "Но подайте же просьбу, – подтвердил государь, – о увольнении вас от должности юстиц-министра". – "Исполню повеление". Тут выпросил он многим подкомандующим своим чины и другие милости, расстался, а между тем, поколь он не подавал просьбы, то доводили до него чрез его ближних внушения, что ежели он пришлет уничижительное прошение о увольнении его от должности юстиц-министра, по ее трудности, и останется в Сенате и Совете, то оставляю будет ему все министерское жалованье, 16000 рублей, и в вознаграждение за труды дастся Андреевская лента. Но как он ценил истинные достоинства не

по деньгам, не по лентам, а по доверенности государственной и совестному разбирательству своих поступков, то когда лишился он первой, по самонравию счастья или, лучше сказать, государя, которому служил он всей душою и сердцем, не щадя ни здоровья своего, ни трудов, и не может также упрекать себя в нарушении второй, то и не хотел принять предлагаемых выгод и наградений, а написал просто по форме просьбу, в которой весьма кратко сказал, чтоб государь его от службы своей уволил. Вследствие чего, на другой или третий день состоялся 8-го октября 1803 году в Сенат указ, коим он от службы вовсе уволен с пожалованьем ему 10000 рублей ежегодного пансиона, который он и теперь получает. <...> Итак, заботливая его и истинно-попечительная, как верного сына отечества, служба потоптана, так сказать, в грязи, а потому он, как выше явствует, и оставил оную в 1803 году октября 8-го числа, быв генерал-прокурором один только год и один месяц.

Упражнения его после отставки от службы.

Привыкши к беспрестанным трудам, не мог он быть без упражнения, и для того занимался литературою, писал несколько лирических сочинений, которых вышло 4 части, и еще

наберется, может быть, одна; сочинял трагедии, как то: 1) "Ирода и Мариамну", 2) "Евпрак-сию", 3) "Темного"; да перевел "Федру", "Зельмиру". Комических написал опер бездельных две: "Дурочка умнее умных" и "Женская дружба"; несколько прозаических сочинений, надписей, эпиграмм и рассуждение о лирической поэзии. Но в 1806-м и в начале 1807 года, в то время как вошли французы в Пруссию, не утерпел, писал государю две записки о мерах, каким образом укротить наглость французов и оборонить Россию от нападения Бонапарта, которые явно предвидел, о чем с ним и словесно объяснялся, прося позволения сочинить проект, к которому у него собраны мысли и начертан план: только требовалось некоторых справок от военной коллегии и прочих мест, относительно наряда войск, крепостей, оружия и тому подобное. Государь принял сие предложение с благосклонностию, хотел призвать его к себе; но, поехав в марте месяце к армии под Фридланд и возвратясь оттуда, переменил с ним прежнее милостивое обхождение, не кланялся уже и не говорил с ним; а напротив того, чрез князя А. Н. Голицына, за псалом 101, переложенный им в стихи, в котором изображалось Давида сетование о бедствии отечества, сделал выговор, отнеся

смысл одного на Россию и говоря: "Россия не бедствует"; о чем яснее можно видеть из анекдота, написанного о сем случае. Нужно припомнить, что когда Державин вышел в отставку и увидел, что указ о вольных хлебопашцах не исполняется и исполниться не может, и будучи тогда очень нездоровым, написал завещание о своем имении, в котором сделал распоряжение относительно свободы его крестьян, в котором ограничил, с одной стороны, самовластие владельцев, его наследников, над людьми и крестьянами, а с другой, не дал им никакого повода к своеволию и переходу на места, в 1808 или 1809 году просил чрез господина Молчанова о подтверждении государем того его завещательного распоряжения; но не удостоился его благоволения, а сказано было, чтоб просил о том в судебных местах по законам, чего без воли монаршей никому не можно было сделать. С тех пор оставил Державин всячески двор и не беспокоил его никакими на пользу отечества усердными представлениями, кроме что в 1812 году, во время вторжения французов внутрь империи, при случае воззвания манифестом всеобщего ополчения, писал из Новгорода июля 14-го дня о некоторых к обороне служащих мерах, но что по ним сделано, ни от императора и ни от

кого не имел никакого известия, и дошла ли та бумага до рук его величества, не получил ни от кого никакого сведения... <...> Сие оканчивается 1812 годом.